

М. ПРИШВИН

РАССКАЗЫ ОХОТНИКА

М. ПРИШВИН

РАССКАЗЫ ОХОТНИКА



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Оформление художника

А. Николаева

АНЧАР

Люблю гончих, но терпеть не могу накликать в лесу, порскать, лазать по кустам и самому быть как собака. У меня было так: пущу, а сам чай кипятить, не спешу даже, когда и подымет: пью чай, слушаю и, как пойму гон, перехватываю, становлюсь на место — раз! и готово. Я так люблю.

Была у меня такая собака Анчар. Теперь в Алексеевой сече, откуда лощина ведет на вырубку,— в этой лощине над его могилой лесная шишига стоит...

Не я выходил Анчара. Привел раз мне один мужичок гончую, был это рослый, статный кобель и на глазах очки.

Спрашиваю:

— Краденый?

— Краденый,— говорит,— только давно было, зять щенком из питомника украл, теперь за это ничего не будет. Чистая порода...

— Породу,— говорю,— сам понимаю, а как гоняет?

— Здорово.

Пошли пробовать.

И только вышли из деревни, пустили, поминай как звали, только по седой узерке след остался зеленый...

В лесу этот мужичок говорит мне:

— Я что-то озяб, давай *грудок* разведем.

«Так не бывает, думаю, не смеется ли он надо мной?» Нет, не смеется, собирает дрова, поджигает, садится.

— А как же,— спрашиваю,— собака?

— Ты,— говорит,— молод, я стар, ты не видал такого,

я тебя научу: о собаке не беспокойся, она свое дело знает, ей дано искать, а мы будем чай пить.

И ухмыляется.

Выпили мы по чашке.

— Бам!

Я так и рванулся.

Мужичок засмеялся и спокойно наливает себе вторую чашку.

— Послушаем,— говорит,— что он поднял.

Слушаем.

Густо лает, редко и хлестко гонит.

Мужичок понял:

— Лисицу мчит.

Мы по чашке выпили, а тот уж версты четыре пролетел. И вдруг скололся. Мужичок в ту сторону рукой показал, спрашивает:

— Там у вас коров пасут?

И верно, в этой стороне пасут карачуновские.

— Это она его в коровий след завела, теперь он добирать будет. Выпьем еще по одной.

Но недолго пришлось отдохнуть лисице, опять схватил свежий след и закружил на малых кругах,— видно, была местная. И как на малых кругах пошел, мужичок чай пить бросил, грудок залил, раскидал ногами и говорит:

— Ну, теперь надо поспешать.

Бросились перехватывать на полянку перед лисьими норами. Только расставились, и она тут на поляне, и кобель у нее на хвосте. Трубой она ему показала в болото, он же не поверил— тяп! за шею, она — вию! и готово: лисица,— и он рядом ложится лапу зализывать.

Его звали глупо: «Гончар», я же на радости крикнул:

— Анчар!

И так пошло после: Анчар и Анчар.

Сердце охотничье, вы знаете, как раскрывается? Знаете, утро, когда мороз на траве и перед восходом солнца туман, потом солнце восходит и мало-помалу туман отдаляется, и то, что было туман, стало синим между зелеными елями и золотыми березками, да так вот и пошло все дальше и дальше синеть, золотиться, сверкать. Так суровый октябрьский день открывается, и точно так открывается сердце охотничье: хлебнул мо-

роза и солнца, чхнул себе на здоровье, и каждый встречный человек стал тебе другом.

— Друг мой,— говорю мужичку,— по какой беде ты собаку такую славную за деньги отдаешь в чужие руки?

— Я в хорошие руки отдаю собаку,— сказал мужичок,— а беда моя крестьянская: корова зеленями морозцу хватила, раздулась и околела: корову надо купить, без коровы нельзя крестьянину.

— Знаю, что нельзя, жаль мне очень тебя. А что же ты просишь за собаку?

— Корову же и прошу, у тебя две, отдай мне свою пеструю.

Отдал я за Анчара корову.

Эх, и была же у меня осень, в лесу не накликаю, не порскаю, не колю глаза сучьями, хожу себе тихо, по дорожкам, любуюсь, как изо дня в день золотеют деревья, бывает, рябцами займусь, намну тропок, насвистываю, и они ко мне по тропкам сами бегут. Так прошло золотое время, в одно крепкое морозное утро солнце взошло, пригрело, и в полдень весь лист на деревьях осыпался. Рябчик на манок перестал отзываться. Пошли дожди, запрела листва, наступил самый печальный месяц — ноябрь.

Вот нет этого у меня, чтобы шайками в лес на охоту ходить, я люблю идти в лесу тихо, с остановками, с замиранием, и тогда всякая зверюшка меня за своего принимает, всякую такую живность очень люблю я разглядывать, всему удивляюсь и бью только, что мне положено. И это мне хуже всего, когда шайками в лесу идут, гамят и бьют все, что попадается. Но бывает, какой-нибудь согласный приятель, понимающий охотник явится — люблю проводить его, другое это удовольствие, а тоже хорошее: хорошему человеку до смерти рад. Так, пишет мне в начале ноября из Москвы один охотник, просится со мной погонять. Вы все знаете этого охотника, не буду его называть. Конечно, я очень ему обрадовался, отписал ему, и в ночь под седьмое он ко мне является.

И вот нужно же так: перед этим лег было славный зазимок и как раз под седьмое растаял: грязно, моросит мелкий холодный дождик. Всю ночь я не спал, беспокоился, как бы дождик не помешал и не смыл ночные следы. Но счастливо вызвездило после полуночи, и к утру зайцы славно набегали.

До рассвета, при утренней звезде мы чаю напились, наговорились и, когда заголубело в окне, вышли с Анчаром на русаков.

Озимый клин в эту осень начинался у самой деревни, была озимь в ту осень густая, тугая, сочно-зеленая, хоть сам ешь. И русак на этой озими так наедался, вы не поверите, сало внутри висело, как виноград, и я почти по фунту с русака надирал. Весело взял Анчар след, покружил, разобрался в жировке и пошел прямым ходом на лежку. В лесу в это время капель, шорох. Этого русак очень боится, выбирается и ложится у нас на вырубке против Алексеевой сечи. И как я понял Анчара, что он с зеленей пошел на вырубку,— скорей на пустошь к лощине: с вырубки русаки непременно этой лощиной бегут. На первое место я поставил приятеля, у края оврага, сам же стал по другой стороне, и ему не видно меня, а мне он весь как на ладони.

План, конечно, и на охоте необходим, но только редко по плану приходится. Ждем-пождем — нет гона, и Анчар как провалился.

— Сережа,— кричу я...

Ах, виноват, не хотел я называть вам этого охотника, вы все его знаете, ну да ведь Сергеев у нас много.

— Сережа,— кричу я,— потруби Анчара.

Свой охотничий рог я ему отдал, он большой мастер трубить и любит. И только взялся Сережа за рог, гляжу — Анчар к нам бежит по лощине. Сразу я понял по его походке, он тем же самым следом бежит, и еще понял, это того русака лисица или сова перегнали с лежки, он прошел уже лощину, и Анчар его добирает. Вот, когда он поравнялся с моим приятелем, гляжу, тот поднимает ружье и прицеливается...

И ничего бы не было, если бы в ту минуту я вспомнил, что как раз с этого самого места раз я сам в человеческую голову целился и только вот чуть-чуть не убил: лощиной шел человек в заячьей шапке, мне была только шапка видна, и вот только бы курок спустить, вдруг вся голова показалась. Мелькни мне это в памяти, я понял бы, что сверху видна только шерсточка, крикнул бы и остановился. Но я подумал — приятель мой балуется, это постоянно бывает у городских охотников, как у застоялых коней.

Думал, шутит, и вдруг — бац!

Было тихо, дым весь пал в лощину и все застелил.

Обмер я и сразу вспомнил, как с того места сам в человеческую голову чуть-чуть не выстрелил.

Синий дым лег на зеленую лощину. Жду я, жду, и мгновенья проходят как годы, и нет Анчара, нет: из дыма не вышел Анчар. Как рассеялось, вижу, спит мой Анчар на траве вечным сном, на зеленой траве, как на постели.

С высоких деревьев на малые капают тяжелые осенние капли, с малых — на кустики, с кустов — на траву, с травы — на землю: печальный шепоток стоит в лесу и стихает только у самой земли: тихо принимает в себя земля все слезы...

А я на все сухими глазами смотрю...

«Ну что же, думаю, бывает и хуже, и человека по случаю убивают».

Перегорелый я человек, скоро с собой справился, и уж стало у меня складываться, как бы лучше мне сделать приятелю, поласковей с ним обойтись, знаю ведь, не лучше ему, чем мне, и на то мы охотники, чтобы горе умывать радостью. В Цыганове самогонка живет в каждой избе, так я и решил: идти в Цыганово и все замыть. Сам думаю так, а сам смотрю на приятеля и удивляюсь: сошел вниз, поглядел на убитого Анчара, опять стал на место и стоит себе, будто все еще гона ждет.

В чем же тут штука?

— Гоп! — кричу.

Отозвался.

— Ты в кого стрелял?

Помолчал.

— В кого,— кричу,— ты стрелял?

Отвечает:

— В сову.

Оторвалось у меня сердце.

— Убил?

Отвечает:

— Промазал.

Сел я на камень и вдруг все понял.

— Серега! — кричу.

— Ну!

— Потруби Анчара.

Гляжу, схватился Серега за рог и остановился. Сде-

лал шаг в мою сторону: видно, стыдно стало, шагнул другой раз и задумался.

— Ну же,— кричу,— потруби!

Он опять берется за рог.

— Скорей,— кричу,— скорей!..

К губам рог приставляет.

— Да ну же, ну...

И затрубил.

Сижу я на камне, слушаю, как приятель трубит, и страшной чепухой занимаюсь: вижу вот, как ворона за ястребом гонится, и думаю, почему же он ей не даст по затылку, ему бы только раз тюкнуть. С такими думами можно на камне сколько угодно сидеть. И тут же колом стоит вопрос о самом человеке: почему ему нужен обман? Смерть есть конец, все кончается так просто, и зачем-то всем надо трубить? Вот убита собака, никакой охоты у нас быть не может, и сам же он собаку застрелил, и знает он: человек я, не безделушка, с него не взыщу и слова попрека не скажу...

Кого он обманывает?

— Вот,— указываю,— иди ты по той тропинке, она тебя в Цыганово приведет, мы там с тобой выпьем, иди туда и потрубливай, все потрубливай, я же буду в лесу ходить и слушать, не викнет ли где-нибудь Анчар на трубу.

— Да ты,— говорит,— возьми рог и сам труби.

— Нет,— отвечаю,— не люблю я трубить, у меня от этого в ушах звук остается, ничего не слышу, а тут надо слушать малейшее.

Оробел он и спрашивает нерешительно:

— А ты сам куда пойдешь?

Я показал в сторону, где Анчар лежит.

«Ну, думаю, деваться теперь ему некуда, сейчас признается».

И вот нет же, говорит:

— В ту сторону я тебе идти не советую, там и деревьев нет, на кусту он не может повеситься.

— Хорошо,— отвечаю,— я вон туда пойду. А ты, пожалуйста, не забывай, все потрубливай и потрубливай.

Как я сказал, что в другую сторону пойду, очень он обрадовался и затрубил, и так ему надо версты три все трубить и трубить.

«Нет,— говорю ему вслед,— на живых началах мно-

го бывает чудес, а на мертвых концах чудес не случается: не отзовется Анчар. Оттого настоящий охотник смотрит прямо в глаза и говорит: выпьем, друг, все кончилось».

Да, кого он обманывает?

У меня за поясом всегда маленький топорик для всякого случая, отрубил я им конец у сушины, вытесал вроде лопаты и выкопал яму в мягкой земле. Уложил Анчарушку в яму, холмик насыпал, нарезал дерну, обложил. На гари был у меня примечен чертик из обгорелого дерева, в сумерках он очень наших баб пугает, и все зовут его *шишигой*. Сходил я на гарь, приволок эту *шишигу* и поставил Анчару памятник.

Стою, любуюсь на черта, а Сережа все трубит, трубит. «Кого ты, Сережа, обманываешь?»

Моросит дождик, мелкий, холодный. С высоких деревьев падают тяжелые капли на малые, с малых — на кусты, с кустов — на траву и с травы — на сырую землю. Во всем лесу шепоток стоит и выговаривает: мыши, мыши, мыши... Но тихо принимает в себя мать-земля все слезы и напивается ими, все напивается...

Стало мне так, будто все дороги на свете в один конец сошлись, и на самом конце стоит лесной черт на собачьей могиле и с таким уважением на меня смотрит.

— Слушай, черт! — говорю,— слушай...

И сказал я речь над могилой, и что сказал — потаю.

После того стало мне на душе спокойно, прихожу в Цыганово.

— Перестань,— говорю,— Сережа, трубить, все кончено, я все знаю. Кого ты обманываешь?

Он побледнел.

Выпили мы с ним, заночевали в Цыганове. Охотника этого вы все знаете, у каждого из нас есть такой Сережа на памяти.

[*1925*]

ГОН

Пришел ко мне Федор из Раменья, промысловый охотник. Раменье недалеко от Москвы, всего несколько часов, и все-таки сохранились тут настоящие промышленники, всю зиму только и занимающиеся охотой на лисиц, зайцев, белок и куниц. Занятые люди, и среди них этот Федор, по мастерству своему — башмачник, ему охота, конечно, невыгодна, да вот поди рассуди людей.

Федор прослышал, будто у нас лисиц много развелось, пришел ко мне проведать, привел своих собак, известных в нашем краю, один *Соловей,* другой называется вроде как бы по-французски — *Рестон.*

Соловей — великан смешанной породы: костромича, борзой, дворняжки — все спуталось, и получилась безобманная промысловая собака: лисиц с ним хочешь стреляй, а хочешь — так бери, если только не успеет занориться, непременно загоняет и не изорвет, а сядет против нее и бумкнет, охотник приходит и добивает.

От Соловья выходят щенки, с виду совершенно дворные, но в работе прекрасные, ходят и по зайцам, и по лисицам, и по куницам, забираются в барсучьи ходы и там, под землей глубоко, гонят, как на земле, еле слышно, и кто этого не знает, очень удивительно и почему-то даже смешно.

Федоровская порода известная.

Последний сын Соловья, кобель по второму полю, особенно умен, но вид... бери и на цепь сажай двор караулить.

Московские охотники только головами качают.

— Это не собака!

Да так и зовут:

— Шарик.

Я сам зову этого лохматого, рыжего, совершенно дворного кобеля Шариком, но не потому, что презираю, как москвичи федоровскую породу, а просто язык не повертывается назвать такого демократического кобеля *Аристоном.*

Какие-нибудь тертые *егеря* барских времен, наверно, сбили Федора на древнегреческое имя, но мужицкий язык оживил мертвое слово, стало что-то вроде ренессанса, Рестон, и дальше рациональное объяснение. Рестон — значит, резкий тон, с упрощением — рез-тон.

Ну, вот, под седьмое число октября месяца приходит ко мне Федор, с ним Соловей и этот рыжий Шарик. Наши деревенские охотники все, у кого есть хоть какое-нибудь ружьишко, с вечера объявились и назвались вместе идти. А не охотники всю затею всерьез приняли и просили:

— Волка убейте!

Всем этим охотникам родоначальник сосед мой слесарь Томилин, человек лет за сорок, семья — девять человек, не прокормишь же всех лужением самоваров да починкой ведер, вот он и занялся еще и ружьями, собирает из всякого лома и особенно хвалится своими пружинами.

Изредка я очень люблю эти деревенские охоты, но держусь всегда в стороне, потому что каждую охоту непременно у кого-нибудь разрывает ружье. Да не мудрено, простым глазом издали видишь, как сверкают там и тут на стволах заплаты на медном припое. У одного даже и курок на веревочке: взлетает вверх после выстрела и потом висит. Но это им нипочем, и что ружья в цель не попадают — тоже ничего, только бы ахали...

В особенности страшны мне шомполки, заряженные с прошлого года, в начале охоты их обыкновенно всем миром разряжают в воздух, и потом, когда хозяин продувает дым и он, синий, выходит не только в капсюль, а фонтаном во все стороны, все хохочут и говорят:

— Решето!

— Отдай бабе муку отсевать.

И так сами над собой все потешаются. Очень бывает весело, и у меня всегда является представление о тех

отдаленных временах, когда также деревнями охотились на мамонта. Я думаю, у нас даже лучше: там огромное животное, наверно, к чему-то обязывает, но у нас предмет охоты иногда листопадник-белячок, величиной с крысу, ни к чему не обязывает, а радости охотничьей и хлопот все равно, как и за мамонтом. И так славно бывает, когда на выходе тот охотник со взлетающим курком погрозится в лес тому невиданному мамонту и скажет:

— Вот, погляди, я тебе галифе отобью!

Конечно, если бы настоящий мамонт, непременно бы кто-нибудь сказал:

— Не хвались, как бы тебе галифе не отбил.

Но тут просто:

— Ты лучше гляди, не улетел бы курок...

И какое волнение! Мастер Томилин перед охотой встает часа в два ночи, проверяет погоду. Я это слышу, встаю и ставлю себе самовар.

Три часа ночи.

Мы с Федором чай пьем. Видно напротив, что и Томилин с сыном чай пьют. Разговор у нас о зайце, что хуже нет разыскивать в листопад — очень крепко лежит.

Четыре часа.

Чай продолжается. Разговор о лисице, какая она, сволочь, хитрая. Сотни примеров.

В пять часов решаем вопрос, как лучше всего выгнать дупляную куницу. Решаем: лучше всего лыжей дерево почесать, она подумает — человек лезет, и выскочит.

В окне начинается белая муть рассвета. Охотники все собрались под окнами и на лавочке тихо беседуют.

Подымаемся. Среди нас нет ни одного из тех досадных людей, кто вперед перед всяким делом общественным думает про себя, что ничего не выйдет, плетется хило и слегка оживает, когда против ожидания вышло удачно.

И даже эта тяжелая муть рассвета не смущает нас, напротив, едва ли кто-нибудь из нас променял бы это на весенний соловьиный дачный восход.

Только поздней осенью бывает так хорошо, когда после ночного дождя с трудом начинает редеть ночная мгла, и радостно обозначится солнце, и падают везде капли с деревьев, будто каждое дерево умывается

Тогда шорох в лесу бывает постоянный, и все кажется, будто кто-то сзади подкрадывается. Но будь спокоен, это не враг и не друг идет, а лесной житель сам по себе проходит на зимнюю спячку.

Змея прошла очень тихо и вяло, видно, ползучий гад убирается под землю. Ей нет никакого дела до меня, чуть движется, шурша осенней листвой.

До чего хорошо пахнет!

Кто-то сказал в стороне два слова. Я подумал, это мне кажется так, слух мой сам дополнил к шелесту умирающей природы два бодрые человеческие слова. Или, может быть, чокнула неугомонная белка? Но скоро опять повторилось, и я оглянулся на охотников.

Они все замерли в ожидании, что вот-вот выскочит заяц из частого ельника.

Где же это, и кто сказал?

Или, может быть, это идут женщины за поздними рыжиками и, настороженные лесным шорохом, изредка одна с другой тихо переговариваются.

— Равняй, равняй! — услыхал я над собой высоко.

Я понял, что это не люди идут в лесу, а дикие гуси высоко вверху подбодряют друг друга.

Великий показался, наконец, в прогалочке между золотыми березами гусиный караван, сосчитать бы, но не успеешь. Палочкой я отмерил вверху пятнадцать штук и, переложив ее по всему треугольнику, высчитал всего гусей в караване больше двухсот.

На жировке в частом ельнике изредка раздавалось «бам!» Соловья. Ему там очень трудно разобраться в следах: ночной дождик проник и в густель и сильно подпортил жировку.

Этот густейший молоденький ельник наши охотники назвали *чемоданом,* и все уверены, что заяц теперь в *чемодане.*

Охотники говорят:

— Листа боится, капели, его теперь не спихнешь.

— Как гвоздем пришило!

— Не так в листе дело и в капели, главное, лежит крепко, потому что начинает белеть, я сам видел: галифе белые, а сам серый.

— Ну, ежели галифе побелели, тогда не спихнешь, его в чемодане как гвоздями пришило.

Смолой, как сметаной, облило весь ствол единственной высокой ели над густелью, и весь этот еловый *чемодан* был засыпан опавшими березовыми листочками, и все новые и новые падали с тихим шепотом.

Зевнув, один охотник сказал, глядя на засыпанный ельник:

— Комод и комод!

Зевнул и сам мастер Томилин.

С тем ли шли: зевать на охоте!

Мастер Томилин сказал:

— Не помочь ли нам Соловью?

Смерили глазами *чемодан*, как бы взвешивая свои силы, пролезешь через него или застрянешь.

И вдруг все вскочили, решив помогать Соловью.

Ринулись с криком на *чемодан*, сверкая на проглянувшем солнышке заплатами чиненых стволов.

Всем командир мастер Томилин врезался в самую середку, и чем его сильней там кололо, тем сильней он орал.

Все орали, шипели, взвизгивали, взлаивали: нигде таких голосов не услышишь больше у человека, и, верно, это осталось от тех времен, когда охотились на мамонта.

Выстрел.

И отчаянный крик:

— Пошел!

Первая, самая трудная часть охоты кончилась, все равно, как если бы фитиль подложили под бочку с порохом, целый час он горел и вдруг, наконец, порох взорвался.

— Пошел!

И каждому надо было в радости и в азарте крикнуть:

— Пошел, пошел!

Уверенный и частый раздался гон Соловья, и после него, подвалив, Шарик ударил, Рестон, действительно очень резко: рез-тон.

Вмиг вся молодежь, как гончие, не разбирая ничего, врассыпную бросается куда-то перехватывать, и с нею мастер Томилин, как молодой — откуда что взялось,— летит, как лось, ломая кусты.

Таким никогда не подстоять зайца, но, может быть, им это и не надо, их счастье — быстро бежать по лесу и гнать, как гончая.

Мы с Федором, старые воробьи, переглянулись, улыбнулись, прислушались к гону и, поняв, куда завертывает заяц, стали: он тут на лесной полянке, перед самым входом в *чемодан*, я немного подальше на развилочке трех зеленых дорог между старым высоким лесом и частым мелятником.

И едва только затих большой, как от лося, треск кустов, ломаемых на бегу сорокалетним охотником, далеко впереди на зеленой дорожке, между большим лесом и частым мелятником, мелькнуло сначала белое галифе, а потом и весь серый обозначился: ковыль-ковыль, прямо на меня.

Я смотрел на него с поднятым ружьем через мушку: мамонт был самый маленький белячок из позднышков-листопадников, на одном конце его туловища, совсем еще короткого, были огромные уши, на другом — длинные ноги, такие, что весь он на ходу своим передом то высоко поднимался, то глубоко падал.

На мне была большая ответственность — не допустить листопадника до *чемодана* и не завязить там опять надолго собак: я должен был убить непременно этого мамонта. И я взял на мушку.

Он сел.

В сидячего я не стреляю, но все равно ему конец неминуемый, побежит на меня — мушка сама станет вниз на передние лапки, прыгнет в сторону — мушка мгновенно перекинется к носику.

Ничто не может спасти бедного мамонта.

И вдруг...

Ближе его из некоси мелятника показывается рыжая голова и как бы седая от сильной росы.

— Шарик?

Я чуть было не убил его, приняв за лисицу, но ведь это же не Шарик, это лисица...

И все это было в одно мгновение, седая от росы голова не успела ни продвинуться, ни спрятаться. Я выстрелил, в некоси заворошилось рыжее, вдали мелькнуло белое галифе.

И тут налетели собаки...

Налетел Федор. С ружьем наперевес, как в атаке, выскочил из леса на дорожку мастер Томилин и потом все, сверкая заплатами ружей. Сдержанные сворками собаки рвались на лисицу, орали не своим голосом. Ора-

ли все охотники, стараясь крикнуть один громче другого, что и он видел промелькнувшую в густели лисицу. Когда собаки успокоились и молодежь умолкла, осталась радость у всех одинаковая, как будто все были один человек.

Федор сказал:

— Шумовая.

Мастер Томилин по-своему тоже:

— Чумовая лисица.

[*1925*]

СМЕРТНЫЙ ПРОБЕГ

Случалось не раз мне зимой пропадать в лесу, видал цыган мороза! И до сих пор, когда в сумерках гляну издали на серую полосу леса, отчего-то становится не по себе. Зато уж как удастся утро с легким морозцем после пороши, так я рано, далеко до солнца, иду в лес и справляю свое рождество, до того прекрасное, какое, думается самому, никто никогда не справлял.

В этот раз недолго мне пришлось любоваться громадами снежных дворцов и слушать великую тишину. Мой лисогон Соловей подал сигнал: как Соловей-разбойник зашипел, засвистал и, наконец, так гамкнул, что сразу наполнил всю тишину. Так он добирает по свежему следу зверя всегда этими странными звуками.

Пока он добирает, я спешу на поляну с тремя елями, там обыкновенно проходит лисица; становлюсь под зеленым шатром и смотрю в прогалочки. Вот он и погнал, нажимает, все ближе и ближе...

Она выскочила на поляну из частого ельника далековато, вся красная на белом и как бы собака, но, подумалось, зачем у ней такой прекрасный, как будто совсем ненужный хвост? Показалось, будто улыбка была на ее злющем лице, мелькнул пушистый хвост, и нет больше красавицы.

Вылетел вслед Соловей, тоже, как и она, рыжий, могучий и безумный: он помешался когда-то, увидев на белом снегу след коварной красавицы, и с тех пор на гону из доброго домашнего зверя становится самым диким,

упорным и страшным. Его нельзя отозвать ни трубой, ни стрельбой. Он бежит и ревет изо всех сил, положив раз навсегда — погибнуть или взять. Его безумие так заражает охотника, что не раз случалось опомниться в темноте, верст за восемь в засыпанном снегом неизвестном лесу.

След его и ее выходил из разных концов поляны, в густоте пес бежал по чутью и тут, завидев след, пересек всю поляну и схватился след в след у той маленькой елочки, где лиса показала мне хвост. Еще остается небольшая надежда, что это местная лисица, что вернется и будет здесь бегать на малых кругах. Но скоро лай уходит из слуха и больше не возвращается: чужая лисица ушла в родные края и не вернется.

Теперь начинается и мой гон, я буду идти, спешить по следу до тех пор, пока не услышу. Большей частью след идет опушками лесных полян и у лисы закругляется, а пес сокращает. Стараюсь идти по прямому, и сам сокращаю, если возможно. В глазах у меня только следы, и в голове одна только и мысль о следах: я тоже, как Соловей, на этот день маниак и тоже готов на все.

Вдруг на пути открывается целая дорога разных следов, больше заячьих, и лисица туда, в заячий путь. У нее двойной замысел: смазать свой след и соблазнить Соловья какой-нибудь свежей заячьей скидкой. Так оно и случилось. Вот свежая скидка, и, кажется, под этим кустиком непременно белый лежит и поглядывает своими черными блестящими пуговками. Соловей метнулся. Неужели он бросит ее и погонится за несчастным зайчишкой?

Одинокий след ее с заячьей тропы бежит в болото, на край по молодому осиннику, изгрызанному зайцами, пересекает поляну и тут... здравствуй, Соловей! Его могучий след выбегает из леса, снова схватываются следы зверей и уходят в глубину в смертном пробеге.

Мне почудился на ходу вой Соловья. На мгновенье я останавливаюсь, ничего не слышу и думаю: так показалось. Тишина, и все мне кажется, будто свистят рябчики. А следы вышли в поле, солнце их все поголубило, и так через все большое поле голубеет дорога зверей.

Она, проворная, нырнула под нижнюю жердину изгороди и пошла дальше, а он попробовал, но не мог. Он пытался потом перескочить через изгородь. На верхней жердине остались два прохвата снега, сделанные его могучими лапами. Вот теперь я понимаю: это я не ослышался, это он, когда свалился с изгороди, с горя провыл мне и пустился в обход. Где уж он там выбрался, мне было не видно, только у границы горелицы следы снова сбегаются и уходят вместе в эти пропастные места.

Нет для гонца испытания больше этой горелицы. Тут когда-то тлела в огне торфяная земля, подымая громадных земляных медведей, и полегли деревья одно на другое и так лежат дикими ярусами, а снизу уже вновь поросло. Не только человеку, собаке, но тут все равно и лисице не пройти. Это она сюда зашла для обмана и ненадолго. Нырнула под дерево и оставила за собой нору, он же смахнул снег сверху и прервал хорьковый след на бревне. Вместе свалились, обманутые снежным пухом, в глубокую яму, и у нее скачок на второй ярус наваленных елей, перелаз на третий и потом ход по бревну до половины, и он продержался, но свалился потом в глубокую яму. Слышно, недалеко кто-то заготовляет дрова, тот, наверно, любовался спокойно, видел все, как звери один за другим вздымались и падали. Человеку невозможно пройти этим звериным пробегом. Я делаю круг по краю горелицы, и вот как тоскую, что не могу, как они.

Встретить выходные следы мне не пришлось. Я вдруг услышал со стороны казенника долгий жалобный заливистый вой. Бегу прямо на вой, гону помогать, трудно мне дышать и жарко на морозе, как на экваторе.

Все мои усилия оказались лишними. Соловей справился сам и снова вышел из слуха. Но разобрать, почему он так долго и жалобно выл, мне интересно и надо. Большая дорога пересекает казенник. Я понимаю, она выбежала на эту дорогу, и по ее свежему следу прямо же проехали сани. Может быть, вот эти самые сани теперь и возвращаются, расписные сани, в них сваты, накрасив носы, едут с заиндевелыми бородами, за вином ездили? Соловей сюда выбежал на дорогу за лисицей. Но дорога не лес, там он все знает, куда лучше нас, от своих предков волков. Здесь дорога прошла много после,

и разве может человек в лесных делах так научить, как волки? Непонятна эта прямая человеческая линия и страшна бесконечность прямых. Он пробовал бежать в ту сторону, откуда выехали сваты за вином, все время поглядывая, не будет ли скидки. Так он долго бежал в ложную сторону, и бесконечность дороги, наконец, его испугала, тут он сел на край и завыл, звал человека раскрыть ему тайну дороги. Сколько времени я путался в горелице, а он все выл!

Верно, он просто вслепую бросился бежать в другую сторону. В одном краешке дороги осталось ее незатертое чирканье, тут он ободрился. А дальше она пробовала сделать скачок в сторону, и почему-то ей не понравилось, вернулась, и на снегу осталась небольшая дуга. По дуге Соловей тоже прошел, но дальше все было стерто: тут возвратились с вином сваты и затерли следы Соловья. Может быть, и укрылось бы от меня, где она с дороги скинулась в куст, но Соловей рухнул туда всем своим грузом и сильно примял. А дальше на просеке вижу опять, смерть и живот схватились в два следа и помчались, сшибая с черных пней просеки белые шапочки.

Недолго они мчались по прямой — звери не любят прямого, опять все пошли целиной от поляны к поляне, от квартала в квартал.

Радостно я заметил в одном месте, как она, уморенная, пробовала посидеть и оставила тут свою лисью заметку.

И спроси теперь, ни за что не скажу, не найду приблизительно даже, где я настиг наконец-то гон на малых кругах. Был высокий сосновый бор и потом сразу мелкая густель с большими полянами. Тут везде следы пересекались, иногда на одной полянке по нескольку раз. Тут я услышал нажимающий гон: тут он кружил. Тогда моя сказка догадок окончилась, я больше не следопыт, а сам вступаю, как третий и самый страшный, в этот безумный спор двух зверей.

Много насело снежных пушинок на планку моей бескурковки, отираю их пальцем и по ожогу догадываюсь, как сильно крепнет мороз. Из-за маленькой елки я увидел, наконец, как она тихо в густели ельника прошла в косых лучах солнца с раскрытым ртом. Снег от мороза начинает сильно скрипеть, но я теперь этого не боюсь, у

нее больше силы не хватит кинуться в бег на большие версты, тут непременно она мне попадется на одном из малых кругов.

Она решилась выйти на поляну и перебежать к моей крайней елочке, язык у нее висел на боку, но глаза попрежнему были ужасающей злости, скрываясь в своей обыкновенной улыбке. Руки мои совсем ожглись в ожидании, но хоть бы они совсем примерзли к стальным стволам, ей не миновать бы мгновенной гибели! Но Соловей, сокращая путь, вдруг подозрил ее на поляне и бросился. Она встретила его сидя, и белые острые зубы, и улыбку свою обернула прямо в его простейшую и страшную пасть. Много раз уж он бывал в таких острых зубах и по неделям лежал. Прямо взять ее он не может и схватит только, если она бросится в бег. Но это не конец. Она еще покажет ему ложную сторону взмахом прекрасного своего хвоста и еще раз нырнет в частый ельник, а там вот-вот и смеркнется.

Он орет. Дышат пасть в пасть. Оба заледенели, заиндевели, и пар их тут же садится кристаллами.

Трудно мне подкрадываться по скрипящему снегу: какой, наверно, сильный мороз! Но ей не до слуха теперь: она все острит и острит через улыбку свои острые зубки. Нельзя и Соловью подозрить меня: только заметит и бросится, и что если она ему в горло наметилась?

Но я, незаметный, смотрю из-за еловой лапки, и от меня до них теперь уже немного.

На боровых высоких соснах скользнул последний луч зимнего солнца, вспыхнули их красные стволы на миг, погасло все рождество, и никто не сказал кротким голосом:

— Мир вам, родные, милые звери.

Тогда вдруг, будто сам дед-мороз щелкнул огромным орехом, и это было не тише, чем выстрел в лесу.

Все вдруг смешалось, мелькнул в воздухе прекрасный хвост, и далеко отлетел Соловей в неверную сторону. Вслед за дедом-морозом, точно такой же, только не круглый, а прямой, с перекатом, грянул мой выстрел.

Она сделала вид, будто мертвая, но я видел ее прижатые уши. Соловей бросился. Она впилась ему в щеку,

но я сушиной отвалил ее, и он впился ей в спину, и валенком я наступил ей на шею и в сердце ударил финским ножом. Она умерла, но зубы так и остались на валенке. Я разжал их стволами.

Всегда стыдно очнуться от безумия погони, подвешивая на спину дряблого зайца. Но эта взятая нами красавица и убитая не отымала охоты, и ее, мертвую, дать бы волю Соловью, он бы еще долго трепал.

И так мы осмерклись в лесу.

[*1925*]

СИНИЙ ЛАПОТЬ

Через наш большой лес проводят шоссе с отдельными путями для легковых машин, для грузовиков, для телег и для пешеходов. Сейчас пока для этого шоссе только лес вырубили коридором. Хорошо смотреть вдоль по вырубке: две зеленые стены леса, и небо в конце. Когда лес вырубали, то большие деревья куда-то увозили, мелкий же хворост — грачевник — собирали в огромные кучи. Хотели увезти и грачевник для отопления фабрики, но не управились, и кучи по всей широкой вырубке остались зимовать.

Осенью охотники жаловались, что зайцы куда-то пропали, и некоторые связывали это исчезновение зайцев с вырубкой леса: рубили, стучали, гомонили — и распугали. Когда же налетела пороша и по следам можно было разгадать все заячьи проделки, пришел следопыт Родионыч и сказал:

— Синий лапоть весь лежит под кучами грачевника.

Родионыч — в отличие от всех охотников — зайца называл не «косым чертом», а всегда «синим лаптем»; удивляться тут нечему: ведь на черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает.

Слух о зайцах под кучами мгновенно обежал весь наш городок, и под выходной день охотники во главе с Родионычем стали стекаться ко мне.

Рано утром, на самом рассвете, вышли мы на охоту без собак: Родионыч был такой искусник, что лучше вся-

кой гончей мог нагнать зайца на охотника. Как только стало видно настолько, что можно было отличить следы лисьи от заячьих, мы взяли заячий след, пошли по нему, и, конечно, он привел нас к одной куче грачевника, высокой, как наш деревянный дом с мезонином. Под этой кучей должен был лежать заяц, и мы, приготовив ружья, стали все кругом.

— Давай,— сказали мы Родионычу.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул он и сунул длинной палкой под кучу.

Заяц не выскочил. Родионыч оторопел. И, подумав, с очень серьезным лицом, оглядывая каждую мелочь на снегу, обошел всю кучу, и еще раз по большому кругу обошел: нигде не было выходного следа.

— Тут он,— сказал Родионыч уверенно.— Становитесь на места, ребятушки, он тут. Готовы?

— Давай! — крикнули мы.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул Родионыч и трижды пырнул под грачевник такой длинной палкой, что конец ее на другой стороне чуть с ног не сбил одного молодого охотника.

И вот — нет, заяц не выскочил.

Такого конфуза с нашим старейшим следопытом еще в жизни никогда не бывало; он даже в лице как будто немного опал. У нас же суета пошла, каждый стал посвоему о чем-то догадываться, во все совать свой нос, туда-сюда ходить по снегу и так, затирая все следы, отнимать всякую возможность разгадать проделку умного зайца.

И вот, вижу, Родионыч вдруг просиял, сел, довольный, на пень поодаль от охотников, свертывает себе папироску и моргает, вот подмаргивает мне и подзывает к себе.

Смекнув дело, незаметно для всех подхожу к Родионычу, а он мне показывает на верх, на самый верх засыпанной снегом высокой кучи грачевника.

— Гляди,— шепчет он,— синий-то лапоть какую с нами штуку играет.

Не сразу на белом снегу разглядел я две черные точки — глаза беляка и еще две маленькие точки — черные кончики длинных белых ушей. Это голова торчала из-под грачевника и повертывалась в разные стороны за охотниками: куда они, туда и голова...

Стоило мне поднять ружье — и кончилась бы в одно мгновение жизнь умного зайца. Но мне стало жалко: мало ли их, глупых, лежит под кучами!..

Родионыч без слов понял меня. Он смял себе из снега плотный комочек, выждал, когда охотники сгрудились на другой стороне кучи, и, хорошо наметившись, этим комочком пустил в зайца.

Никогда я не думал, что наш обыкновенный заяц-беляк, если он вдруг встанет на куче, да еще прыгнет вверх аршина на два, да объявится на фоне неба,— что наш же заяц может показаться гигантом на огромной скале!

А что стало с охотниками! Заяц ведь прямо к ним с неба упал. В одно мгновение все схватились за ружья — убить-то уж очень было легко. Но каждому охотнику хотелось раньше другого убить, и каждый, конечно, хватил, вовсе не целясь, а заяц живехонький пустился в кусты.

— Вот синий лапоть! — восхищенно сказал ему вслед Родионыч.

Охотники еще раз успели хватить по кустам.

— Убит! — закричал один, молодой, горячий.

Но вдруг, как будто в ответ на «убит», в дальних кустах мелькнул хвостик: этот хвостик охотники почему-то всегда называют «цветком».

Синий лапоть охотникам из далеких кустов только своим «цветком» помахал.

[*1938*]

СМЕТЛИВЫЙ БЕЛЯК

Приехали мы в деревню на охоту по белым зайцам. С вечера ветер начался. Агафон Тимофеич успокоил: «Снега не будет». После того начался снег. «Маленький,— сказал Агафон,— перестанет». Снег пошел большой, загудела метель. «Вам не помешает,— успокоил хозяин,— в полночь перестанет, выйдут зайцы,— вам же легче будет найти их по коротким следам. Все, что ни делается, все к лучшему». Утром просыпаемся — снег валом валит. Мы хозяина к ответу, а он нам рассказывает про одного попа в далекое старое время.

Рассказывает Агафон, что будто бы тогда у одного барина пала любимая лошадь. Пришел поп и говорит: «Не горюй, все к лучшему». А на другой день у барина еще одна лошадь пала. Опять тот же поп говорит: «Не горюй, что ни делается на свете, все к лучшему». Так терпел, терпел барин, и когда, наконец, десятая лошадь пала, велит позвать попа: хочет отколотить, а может быть и вовсе решить. А было это в самое половодье, по пути к барину попади поп в яму с водой. Пришлось вернуться назад, отогреться на печке. Утром же, когда поп явился, гнев у барина прошел, и поп рассказывает, как он вчера шел к нему и в яму попал. «Ну, счастлив же твой бог,— сказал барин,— что ты вчера в яму попал!» — «Счастлив,— ответил поп,— ведь я же вам и говорил постоянно, что ни делается на свете, все к лучшему».

— К чему ты нам рассказываешь все это? — спросили мы Агафона.

— Да что вы на метель жалуетесь: идите на охоту и увидите, что все к лучшему.

Метель вскоре перестала. Но ветер продолжался. Мы все-таки вышли промяться. И, переходя поле, говорили между собой, что вот, если случится нам поднять беляка и был бы он вправду умный, то стоило бы ему только одно поле перебежать, и след за ним в один миг заметет и собака сразу же потеряет. Но где ему догадаться: будет вертеться в лесу, пока не убьем. Вскоре мы вошли в лес. Трубач случайно наткнулся на беляка и погнал. Весело нам стало: нигде ни одного следа, и по свежему, нетронутому снегу бежит наш беляк, как по книге. «Что ни делается, все к лучшему!» — весело сказали мы друг другу и разбежались по кругу. И только стали на месте, гон прекратился. Пошли посмотреть, что такое. И оказалось, беляк-то был действительно умный и как будто услыхал наш разговор: из лесу он выбежал в поле, и следы его перемело, да так, что и мы сами кругом поле обошли и нигде следа не нашли. Пришли домой с пустыми руками и говорим Агафону:

— Ну, как это ты понимаешь?

— Так и понимаю, что тоже все к лучшему,— сказал Агафон,— зайчик спасся, а вот увидите, сколько от него разведется к будущему году. Что ни делается на свете, все к лучшему.

[*1939*]

ЗАЙЦЫ-ПРОФЕССОРА

В нашем городе множество охотников с гончими. С первого же дня разрешения охоты на зайцев поднимается великий гон, и через месяц, когда только и начинается интересное время охоты по чернотропу в золотых лесах, у нас верст на десять вокруг города нет ничего. При первой пороше, однако, вдруг появляются всюду следы, и кажется, вместе со снегом выпадают и белые зайцы. Откуда они берутся, я вам скажу.

У наших охотников разве только у десятого есть опытная, увязчивая собака, а девять только учат своих молодых собак или бьются всю жизнь с глупыми. Пока собаки учатся, зайцы тоже не дремлют и проходят высшую школу обмана. Никогда не забуду одного случая, который остается в моей памяти как пример крайней наивности первых молоденьких зайцев, бегущих правильным кругом на лежку. Однажды приехал гость из Москвы и просил меня показать ему, как надо подстаивать беляков. Мы пошли в лес, подняли зайца. Я указал гостю на след и велел ему дожидаться. Гость мой вычертил на указанном месте крестик, отошел шагов на тридцать, положил ружье на сучок, навел на крестик и стал дожидаться. Подсмеиваясь, отошел я, уверенный, что гостю зайца никак не убить. И вдруг через несколько минут раздается выстрел и ликующий крик. Заяц был убит как раз на крестике. Так бывают глупы эти первые молоденькие зайцы. Но мало-помалу зайцы учатся таким фокусам,

что оставляют и собаку и охотника в дураках постоянно. Вот этим, по-моему, охота на беляков так особенно интересна: каждый беляк вырабатывает свой собственный план бега, и разгадать его не всегда бывает легко. Само собой, зайцы выучиваются и хорониться после своей ночной кормежки, и поэтому в конце осени кажется, что все зайцы пропали, а при первой пороше будто с неба свалились.

Вот когда покажутся эти следы по первой пороше, высыпают на них из города все охотники, стар и мал. Это бывает зайцам самый страшный экзамен, после которого в лесах остаются только «профессора». Так у нас их постоянно и называют охотники: *зайцы-профессора*.

Я давно имею пристрастие к ученым зайцам, для меня только и начинается охота с гончей, когда все охотники отказываются и остаются только «профессора» в лесу. Весь день с темна до темна я имею терпение перебегать, равняясь с гончей, или подстаивать в частом болотном ельнике зайца-профессора. Невозможно всего рассказать, что случилось со мной в лесу лет за пятнадцать этой охоты,— один случай вызывает в памяти тысячу других и тонет в них безвозвратно. Но один трудный год, когда «профессора» собрались в незамерзающее болото, не сливается с другими, и я о нем расскажу.

Научились в тот год «профессора» с подъему жарить по прямой линии версты за три и кружить в одном болоте, покрытом густейшим ельником. Собака едва лезет в густели, а он — ковыль-ковыль, тихонечко переходит с кочки на кочку, посидит, послушает, скинется, ляжет. Пока собака доберет, пока разберет, он отлично себе отдохнет, прыгает и опять ковыль-ковыль по болоту. Моего терпения, однако, и на это хватает, бью постоянно и в самых крепких местах. Но в этом болоте невозможно было долго стоять, потому что, когда в первые морозы оно покрылось слоем льда, вода подо льдом понизилась, и так образовался *лед-тощак:* заяц, собака бегут — не проваливаются, а охотник ломает лед и в воду. Так осталось и до больших морозов, когда болото было уже засыпано снегом. Лед-тощак — это страшная вещь: и гремит ужасно, и долго ли можно простоять в кожаных сапогах в ледяной воде?

Сколько раз я ни пробовал, все «профессора» летели в это болото, и я уже хотел было сдаваться. Однажды пришел ко мне Васька Томилин и стал умолять меня сходить с ним на охоту. С этим Васькой мы давно связаны, когда у него был Карай, а мою собаку Анчара застрелили на охоте. В то время Васька меня выручил, и мы охотились зиму с Караем. Потом Карай умер, и Васька пристал к моему Соловью. Теперь из уваженья к памяти Карая я не мог отказать Ваське, и мы пошли на «профессоров», я в сапогах на суконный чулок, Васька в своих обыкновенных валенках. К слову сказать, знамениты эти Васькины валенки: он в них зимою и летом, даже рыбу ловит в них, чтобы не резалась нога в реке о гальку. Одна подошва снашивается, он пришивает другую, и так без конца: самая дешевая обувь.

Вышли мы за «профессорами», взяли след, пустили Соловья, подняли вмиг и прогнали в болото. Что делать? Хожу я по краю болота час, другой, третий. Мороз порядочный, нога и на суходоле начала мерзнуть, а не то что лезть в воду. Горе было еще и в том, что Соловья нельзя отозвать, пока не убьешь зайца; уйти же и бросить собаку не могу: волки могут сцапать за мое почтение. Наконец я до того уже смерз, что стал сухие сучки ломать и разводить костер, о зайце и не думаю, какой тут заяц! И вдруг в самой середке болота, в самой густели и топи раздается выстрел и крик:

— Гоп, гоп!

«Гоп-гоп» — у нас значит: заяц убит.

Соловей скоро добрал и смолк. Заяц убит несомненно. Только я ничего не понимаю, и невозможно понять: ведь лед-тощак гремит, значит, чтобы подстоять зайца, надо не двигаться, а Васька в валенках. Спрашивается, как же это он мог столько времени простоять в валенках в ледяной воде?

Далеко слышу — трещит, гремит, лезет из густели на мой крик. Глянул я на него, когда вылез, и обмер — это не ноги были, а толстые ледяные столбы.

— Ну, снимай,— говорю,— скорей снимай, грей ноги на костре.

— Я,— говорит,— не озяб, у меня ноги сухие.

Вынул ногу из ледяного столба,— сухая нога. Запустил я в валенок руку: тепло.

Тут я все понял: подмоченные валенки на сильном

морозе сверху сразу покрываются ледяной коркой; эта корка в ледяной воде не тает и воду не пропускает.

Я дивлюсь, а Васька мне говорит:

— Я так постоянно.

И стал я с этого разу валенки подмораживать: вечером окуну, и на мороз, еще окуну и оставлю в сенях на всю ночь, а утром в них смело иду в болото. Васька-то оказался над всеми учеными зайцами самым главным профессором.

[*1927*]

СОЛОВЕЙ-ТОПОГРАФ

Если бы не собрался целый архив писем охотников, свидетельствующих мне свое доверие, я не решился бы ни за что рассказывать об этом удивительном случае с моим гонцом — Соловьем, показавшим невероятный пример топографической памяти гончих собак.

Было это под Загорском.

В густом тумане лисица ходила неправильными кругами, и как мы ни бились, не могли ее подстоять. Свечерело, я выстрелил по мелькнувшей в кустах тени, промахнулся, и лиса пошла наутек, и за ней, удаляясь в прямом направлении и постепенно затихая, понесся и Соловей...

Мы ждали Соловья чуть ли не до полуночи, а когда вернулись домой, то оставили калитку к нам на двор открытой. Так сплошь и рядом у нас бывало: Соловей ночью вернется и ляжет в своей теплой конуре.

В этот раз мы утром проснулись, глянули на двор — и обмерли: возле будки Соловья лежала неподвижная цепь с расстегнутым ошейником.

Вот только этим, одним только этим и тягостна бывает охота с гончим мастером. Самые хорошие мастера не позывисты, они до тех пор не бросят гон, пока ты не убьешь зверя. А сколько раз случается, что до вечера не подстоишь и потом, уходя, потихоньку все оглядываешься, все ждешь, трубишь, трубишь, губы обморозишь, горло высушишь, и все нет и нет. А наутро встанешь рано, выйдешь в поле, глянешь через поле в лес и вот заметишь, бывает, там вдалеке сорока, тоненькая, как

спичка, на березе сидит, и голова у нее вниз, а хвост вверх. Это значит, что там внизу падаль лежит и кто-то на падали сидит и не пускает сороку, и она дожидается, когда этот кто-то наестся и освободит место.

— Не волк ли?

И направишься туда. Но поле большое, идти не хочется. Возьмешься тогда за трубу: если это волк, то он от трубы убежит, а сорока слетит вниз. И трублю, вот трублю! Сорока же сидит и глядит вниз. Значит, не волк, и является надежда.

А еще потрубишь — и вот из овражка показывается самая дорогая для охотника, самая милая на свете и такая знакомая голова. Сорока же стрелой летит вниз...

Раз было еще и так, что пришли мы в лес на другой день после гона и слышим: кто-то глухо и странно отзывается на трубу. Прислушиваемся лучше и не понимаем: это не вдали отзывается, а тут же где-то близко, и вроде как бы даже и под землей. Вскоре затем разобрались хорошенько и вдруг поняли: это возле лисьих нор отзывается. Пришли к лисьим норам, и вот какая вышла беда: лиса вчера влетела в барсучью нору, и Соловей за ней, и сгоряча залез в отнорок, и так залез, что ни вперед, ни назад.

Понемногу он все-таки, очевидно, подавался вперед, а то бы, наверное, замерз. И, так согреваясь, за ночь он продвинулся, и всего оставалось до выхода каких-нибудь полметра, но тут выход преградили корни березы.

Лиса прошмыгнула, а Соловей застрял и так бы скоро погиб, если бы мы не услыхали его хрип, стон и вой в ответ на трубу...

Возвращаюсь к нашему рассказу.

Вот, как только мы увидали, что возле будки Соловья лежит неподвижная цепь с расстегнутым ошейником, сразу же мы кто куда: кто в лес, кто в милицию: надо же где-то собаку искать.

Так проходит день, а на другой день, когда в городе о пропаже собаки — моего знаменитого во всей округе Соловья — всем стало известно, у нас дверь на петлях не стоит, то и дело слышим: «Идите скорей, ваш Соловей на улице ходит». Поглядишь, а это совсем не Соловей.

Так и работа остановлена, и есть не хочется, и сон отлетает, и одна только мысль о собаке, и жизнь без такой собаки как-то даже и вовсе не нравится...

И вдруг нежданно-негаданно приходит из Васильевского Илья Старов и ведет на поводке Соловья.

Вот тут-то и приходится мне просить поверить невероятному.

Только единственный раз, год тому назад, был я у этого Старова на охоте за русаками, от Загорска это село верст восемнадцать.

Мы убили в Васильевском за день двух русаков и ночевали у Старова. Хорошо помню, что железка горела, и ребятишки лежали возле железки, и Соловей растянулся рядом с ребятишками.

И после с тех пор мы не бывали в Васильевском. А через год Соловей за лисой прибежал в окрестности Васильевского и, когда ночью опомнился или, может быть, просто загнал лисицу в нору, вспомнил Васильевское, разыскал в нем дом Старова и лег на сено в сарае. Утром Старов и нашел его в сарае и не повел его ко мне в тот же день только потому, что Соловей на ноги не мог наступить.

1941

ЯРИК

Однажды я лишился своей легавой собаки и охотился *по бродкам*, значит, росистым утром находил следы птиц на траве и по ним добирал, как собака, и не могу наверно сказать, но мне кажется, я немного и чуял.

В то время верст за тридцать от нас ветеринарному фельдшеру удалось повязать свою замечательную ирландскую суку с кобелем той же породы, та и другая собаки были из одного разгромленного богатого имения. И вот однажды в тот самый момент, когда жить стало особенно трудно, один мой приятель доставил мне шестинедельного щенка-ирландца. Я не отказался от подарка и выходил себе друга. Натаска без ружья мне доставляет иногда наслаждение не меньшее, чем настоящая охота с ружьем. Помню, раз было... На вырубке вокруг старых черных пней было множество высоких, елочкой, красных цветов, и от них вся вырубка казалась красной, хотя гораздо больше тут было иван-да-марьи, цветов наполовину синих, наполовину желтых, во множестве тут были тоже и белые ромашки с желтой пуговкой в сердце, звонцы, синие колокольчики, лиловое кукушкино платье,— каких, каких цветов не было, но от красных елочек, казалось, вся вырубка была красная. А возле черных пней еще можно было найти переспелую и очень сладкую землянику. Летним временем дождик совсем не мешает, я пересидел его под елкой, сюда же в сухое место собрались от дождя комары, и как ни дымил я на них из своей трубки — собаку мою, Ярика, они очень мучили. Пришлось развести *грудок*, как у нас

называют костер, дым от еловых шишек повалил очень густой, и скоро мы выжили комаров и выгнали их на дождик. Но не успели мы с комарами расправиться, дождик перестал. Летний дождик — одно только удовольствие.

Пришлось все-таки под елкой просидеть еще с полчаса и дождаться, пока птицы выйдут кормиться и дадут по росе свежие следы. Когда по расчету это время прошло, мы вышли на красную вырубку, и, сказав:

— Ищи, друг! — я пустил своего Ярика.

Ярику теперь пошло третье поле. Он проходит под моим руководством высший курс ирландского сеттера, третье поле — конец ученью, и если все будет благополучно, в конце этого лета у меня будет лучшая в мире охотничья собака, выученный мной ирландский сеттер, неутомимый и с чутьем на громадное расстояние.

Часто я с завистью смотрю на нос своего Ярика и думаю: «Вот, если бы мне такой аппарат, вот побежал бы я на ветерок по цветущей красной вырубке и ловил бы и ловил интересные мне запахи».

Но не чуткие мы и лишены громадного удовольствия. Мы постоянно спрашиваем: «Как ваше зрение, хорошо ли вы слышите?», но никто из нас не спросит: «Как вы чуете, как у вас дела с носом?» Много лет я учу охотничьих собак. Всегда, если собака причует дичь и поведет, испытываю большое радостное волнение и часто думаю: «Что же это было бы, если бы не Ярик, а я сам чуял дичь?»

— Ну, ищи, гражданин! — повторил я своему другу. И он пустился кругами по красной вырубке.

Скоро на опушке Ярик остановился под деревьями, крепко обнюхал место, искоса, очень серьезно посмотрев на меня, пригласил следовать: мы понимаем друг друга без слов. Он повел меня за собой очень медленно, сам же уменьшился на ногах и очень стал похож на лисицу.

Так мы пришли к густой заросли, в которую пролезть мог только Ярик, но одного его пустить туда я бы не решился: один, он мог увлечься птицами, кинуться на них, мокрых от дождя, и погубить все мои труды по обучению. С сожалением хотел было я его отозвать, но вдруг он вильнул своим великолепным, похожим на крыло, хвостом, взглянул на меня; я понял, он говорил:

— Они тут ночевали, а кормились на поляне с красными цветами.

— Как же быть? — спросил я.

Он понюхал цветы: следов не было. И все стало понятно: дождик смыл все следы, а те, по которым мы шли, сохранились, потому что были под деревьями.

Оставалось сделать новый круг по вырубке до встречи с новыми следами после дождя. Но Ярик и полукруга не сделал, остановился возле небольшого, но очень густого куста. Запах тетеревов пахнул ему на всем ходу, и потому он стал в очень странной позе, весь кольцом изогнулся и, если бы хотел, мог во все удовольствие любоваться своим великолепным хвостом. Я поспешил к нему, огладил и шепотом сказал:

— Иди, если можно!

Он распрямился, попробовал шагнуть вперед, и это оказалось возможно, только очень тихо. Так, обойдя весь куст кругом, он дал мне понять:

— Они тут были во время дождя.

И уже по самому свежему следу, по роске, по видимому глазом зеленому бродку на седой, от капель дождя, траве повел, касаясь своим длинным пером на хвосте самой земли.

Вероятно, они услышали нас и тоже пошли вперед, я это понял по Ярику, он мне по-своему доложил:

— Идут впереди нас, и очень близко.

Они все вошли в большой куст можжевельника, и тут Ярик сделал свою последнюю *мертвую* стойку. До сих пор ему еще можно было время от времени раскрывать рот и хахать, выпуская свой длинный розовый язык, теперь же челюсти были крепко стиснуты, и только маленький кончик языка, не успевший вовремя вобраться в рот, торчал из-под губы, как розовый лепесток. Комар сел на розовый кончик, впился, стал наливаться, и видно было, как темно-коричневая, словно клеенчатая тюпка на носу Ярика волновалась от боли и танцевала от запаха, но убрать язык было невозможно: если открыть рот, то оттуда может сильно хахнуть и птиц испугать.

Но я не так волновался, как Ярик, осторожно подошел, ловким щелчком скинул комара и полюбовался на Ярика сбоку: как изваянный стоял он с вытянутым в линию спины хвостом-крылом, а зато в глазах собралась в двух точках вся жизнь.

Тихонько я обошел куст и стал против Ярика, чтобы птицы не улетели за куст невидимо, а поднялись вверх.

Мы так довольно долго стояли, и, конечно, они в кусту хорошо знали, что мы стоим с двух сторон. Я сделал шаг к кусту и услышал голос тетеревиной матки, она квохнула и этим сказала детям:

— Лечу, посмотрю, а вы пока посидите.

И со страшным треском вылетела.

Если бы на меня она полетела, то Ярик бы не тронулся, и если бы даже просто полетела над ним, он не забыл бы, что главная добыча сидит в кусту, и какое это страшное преступление бежать за взлетевшей птицей. Но большая серая, почти в курицу, птица вдруг кувыркнулась в воздухе, подлетела почти к самому Ярикову носу и над самой землей тихонько полетела, маня его криком:

— Догоняй же, я летать не умею!

И, как убитая, в десяти шагах упала на траву и по ней побежала, шевеля высокие красные цветы.

Этого Ярик не выдержал и, забыв годы моей науки, ринулся...

Фокус удался, она отманила зверя от выводка и, крикнув в кусты детям:

— Летите, летите все в разные стороны,— сама вдруг взмыла над лесом и была такова.

Молодые тетерева разлетелись в разные стороны, и как будто слышалось издали Ярику:

— Дурак, дурак!

— Назад! — крикнул я своему одураченному другу.

Он опомнился и виноватый медленно стал подходить.

Особенным, жалким голосом я спрашиваю:

— Что ты сделал?

Он лег.

— Ну, иди же, иди!

Ползет виноватый, кладет мне на коленку голову, очень просит простить.

— Ладно,— говорю я, усаживаясь в куст,— лезь за мной, смирно сиди, не хахай: мы сейчас с тобой одурачим всю эту публику.

Минут через десять я тихонько свищу, как тетеревята:

— Фиу, фиу!

Значит:

— Где ты, мама?

— Квох, квох,— отвечает она, и это значит:

— Иду!

Тогда с разных сторон засвистело, как я:

— Где ты, мама?

— Иду, иду,— всем отвечает она.

Один цыпленок свистит очень близко от меня, я ему отвечаю, он бежит, и вот я вижу: у меня возле самой коленки шевелится трава.

Посмотрев Ярику в глаза, погрозив ему кулаком, я быстро накрываю ладонью шевелящееся место и вытаскиваю серого, величиною с голубя, цыпленка.

— Ну, понюхай,— тихонько говорю Ярику.

Он отвертывает нос: боится хамкнуть.

— Нет, брат, нет,— жалким голосом прошу я,— понюхай-ка!

Нюхает, а сам, как паровоз.

Самое сильное наказание.

Вот теперь я уже смело свищу и знаю, непременно прибежит ко мне матка: всех соберет, одного не хватит — и прибежит за последним.

Их всех, кроме моего, семь; слышу, как один за другим, отыскав мать, смолкают, и когда все семь смолкли, я, восьмой, спрашиваю:

— Где ты, мама?

— Иди к нам,— отвечает она.

— Фиу, фиу: нет, ты веди всех ко мне.

Идет, бежит, вижу, как из травы то тут, то там, как горлышко бутылки, высунется ее шея, а за ней везде шевелит траву и весь ее выводок.

Все они сидят от меня в двух шагах, теперь я говорю Ярику глазами:

— Ну, не будь дураком!

И пускаю своего тетеревенка.

Он хлопает крыльями о куст, и все хлопают, все вздымаются. А мы из куста с Яриком смотрим вслед улетающим, смеемся:

— Вот как мы вас одурачили, граждане!

[1924]

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ КОЛБАСА

Ярик очень подружился с молодым Рябчиком и целый день с ним играл. Так в игре он провел неделю, а потом я переехал с ним из этого города в пустынный домик в лесу, в шести верстах от Рябчика. Не успел я устроиться и как следует осмотреться на новом месте, как вдруг у меня пропадает Ярик. Весь день я искал его, всю ночь не спал, каждый час выходил на терраску и свистел. Утром — только собрался было идти в город, в милицию, — являются мои дети с Яриком: он, оказалось, был в гостях у Рябчика. Я ничего не имею против дружбы собак, но нельзя же допустить, чтобы Ярик без разрешения оставлял службу у меня.

— Так не годится, — сказал я строгим голосом, — это, брат, не служба. А кроме того, ты ушел без намордника, значит, каждый встречный имеет право тебя застрелить. Безобразный ты пес.

Я все высказал суровым голосом, и он выслушал меня, лежа на траве, виноватый, смущенный, не Ярик — золотистый, гордый ирландец, а какая-то рыжая, ничтожная, сплющенная черепаха.

— Не будешь больше ходить к Рябчику? — спросил я более добрым голосом.

Он прыгнул ко мне на грудь. Это у него значило:

— Никогда не буду, добрый хозяин.

— Перестань лапиться, — сказал я строго.

И простил.

Он покатался в траве, встряхнулся и стал обыкновенным хорошим Яриком.

Мы жили в дружбе недолго, всего только неделю, а потом он снова куда-то исчез. Вскоре дети, зная, как я тревожусь о нем, привели беглеца: он опять сделал Рябчику незаконный визит. В этот раз я не стал с ним разговаривать и отправил в темный подвал, а детей просил, чтобы в следующий раз они бы только известили меня, но не приводили и не давали там ему пищи. Мне хотелось, чтобы он вернулся по доброй воле.

В темном подвале путешественник пробыл у меня сутки. Потом, как обыкновенно, я серьезно поговорил с ним и простил. Наказание подвалом подействовало только на две недели. Дети прибежали ко мне из города:

— Ярик у нас.

— Так ничего же ему не давайте, — велел я, — пусть проголодается и придет сам, а я подготовлю ему хорошую встречу.

Прошел день. Наступила ночь. Я зажег лампу, сел на диван, стал читать книжку. Налетело на огонь множество бабочек, жуков, все это стало кружиться возле лампы, валиться на книгу, на шею, путаться в волосах. Но закрыть дверь на террасу было нельзя, потому что это был единственный выход, через который мог явиться ожидаемый Ярик. Я, впрочем, не обращал внимания на бабочек и жуков, книга была увлекательной, и шелковый ветерок, долетая из леса, приятно шумел. Я и читал, и слушал музыку леса. Но вдруг мне что-то показалось в уголку глаза. Я быстро поднял голову, и это исчезло. Теперь я стал прилаживаться так читать, чтобы, не поднимая головы, можно было наблюдать порог. Вскоре там показалось нечто рыжее, стало красться в обход стола, и, я думаю, мышь слышней пробежала бы, чем это большое подползало под диван. Только знакомое неровное дыхание подсказало мне, что Ярик был под диваном и лежал как раз подо мной. Некоторое время я читаю и жду, но терпения у меня хватило ненадолго. Встаю, выхожу на террасу и начинаю звать Ярика строгим голосом и ласковым, громко и тихо, свистать и даже трубить. Так уверил я лежащего под диваном, что ничего не знаю о его возвращении.

Потом я закрыл дверь от бабочек и говорю вслух:

— Верно, Ярик уже не придет, пора ужинать.

Слово *ужинать* Ярик знает отлично. Но мне показалось, что после моих слов под диваном прекратилось даже дыхание.

В моем охотничьем столе лежит запас копченой колбасы, которая чем больше сохнет, тем становится вкуснее. Я очень люблю сухую охотничью колбасу и всегда ем ее вместе с Яриком. Бывало, мне довольно только ящиком шевельнуть, чтобы Ярик, спящий колечком, развернулся, как стальная пружина, и подбежал к столу, сверкая огненным взглядом.

Я выдвинул ящик — из-под дивана ни звука. Раздвигаю колени, смотрю вниз — нет ли там на полу рыжего носа — нет, носа не видно. Режу кусочек, громко жую, заглядываю — нет, хвост не молотит. Начинаю опасаться, не показалась ли мне рыжая тень от сильного ожидания и Ярика вовсе и нет под диваном. Трудно думать, чтобы он, виноватый, не соблазнился бы даже и колбасой, ведь он так любит ее; если я, бывало, возьму кусочек, надрежу, задеру шкурку, чтобы можно было за кончик ее держаться пальцами и кусочек ее висел бы на нитке, то Ярик задерет нос вверх, стережет долго и вдруг прыгнет. Но мало того: если я успею во время прыжка отдернуть вверх руку с колбасой, то Ярик так и остается на задних ногах, как человек. Я иду с колбасой, и Ярик идет за мной на двух ногах, опустив передние лапы, как руки, и так мы обходили комнату и раз, и два, и даже больше. Я надеюсь в будущем посредством колбасы вообще приучить ходить его по-человечески и когда-нибудь во время городского гулянья появиться там под руку с рыжим хвостатым товарищем.

И так вот, зная, как Ярик любит колбасу, я не могу допустить, чтобы он был под диваном. Делаю последний опыт, бросаю вниз не кусочек, а только шкурку, и наблюдаю. Но как внимательно я ни смотрю, ничего не могу заметить: шкурка исчезла как будто сама по себе. В другой раз я все-таки добился: видел, как мелькнул язычок.

Ярик тут, под диваном.

Теперь я отрезаю от колбасы круглый конец с носиком, привязываю нитку за носик и тихонечко спускаю вниз между коленами. Язык показался, я потянул за нитку, язык скрылся. Переждав немного, спускаю опять — теперь показался нос, потом лапы. Больше нечего в прятки играть: я вижу его, и он меня видит. Под-

нимаю выше кусочек. Ярик поднимается на задние лапы, идет за мной, как человек, на двух ногах, на террасу, спускается по лесенке на четырех по-собачьи, опять поднимается, и так мы подходим к подвалу. Вот только теперь он понимает мою страшную затею и ложится на землю пластом, как черепаха. А я отворяю подвальную дверь и говорю:

— Пожалуйте, молодой человек.

[*1926*]

ВЕРНЫЙ

Мне удалось Ярика очень хорошо натаскать на болоте, но, страстный любитель лесной охоты, я не удержался от искушения: когда пришла пора, я стал охотиться с ним в лесу на тетеревов. В этом была моя ошибка: надо было потерпеть до другого поля. Однако в первые дни Ярик работал в лесу прекрасно, как и на болоте, только приходилось почаще свистеть. Но как-то под вечер, когда я возвращался с охоты, на дорогу выбежала тетеревиная матка очень позднего выводка и стала своими обычными приемами дразнить Ярика. Он бросился, по пути попал на тетеревят, ошалел и долго за ними носился. Сгоряча я так его вздул, что он вдруг вскочил — и бежать от меня, я за ним, он дальше, дальше и пропал на всю ночь, а утром мы увидели его рыжие уши в картофельной борозде...

Кому приходилось натаскивать собак, тот поймет всю силу моего отчаяния: теперь исправить собаку можно было только с большим трудом, а об охоте в этом году и думать нечего. Выход был один — найти себе для охоты другую собаку, а Ярика учить снова, чтобы этот случай у него постепенно забылся.

Я стал себе приискивать собаку какую-нибудь, хотя бы даже вроде покойницы Флейты, лишь бы мало-мальски из-под нее можно было стрелять.

И так, расспрашивая всех о собаке, я рассылал своих ребятишек узнавать, проверять слухи. Однажды они рассказали мне, что будто бы, когда они проходили мимо

одного хутора с большой пасекой и сели тут отдохнуть, из дома вышел старик с колуном и принялся за дрова. Наколов порядочно дров, этот старичок свистнул, прибежала собака черная с рыжими подпалинами, лохматая и, видно, очень породистая. Подбежав к старику, собака схватила полено в зубы и понесла в дом, потом вернулась, взяла другое и так, пока старичок отдыхал, перетаскала всю поленницу. Потом старик закрыл дом, отворил сарай, стал опять колоть, а собака носила поленья в сарай. И так дети, поспешая домой, ушли, не досмотрев работы, только по количеству наколотых дров можно было понять, что старик этим занимался изо дня в день, заготовляя дрова на зиму, может быть и для продажи, а собака ему помогала.

— Верно ли, что собака черная с рыжими подпалинами и шерсть очень густая? — спросил я.

— Ну, как же, — ответили дети, — а лоб у него покруче нашего Ярика, и переносица как бы с выломом, и такой лохматый, что в общем похож на первобытного человека.

На другой день я пошел искать свое счастье на хутор.

Я застал точно такую картину, как рассказывали дети: старик колол дрова, а прекрасный гордон относил их в сарай. Один раз собака устала, не донесла полено до сарая, бросила и вернулась. Старик взял прут. Гордон, увидев прут, подбежал к старику, лег на бок у самых ног. Старик ударил сильно раз, два и бросил прут. Гордон вскочил, схватил этот прут, весело поскакал с ним возле хозяина, бросился к уроненному полену, донес его до сарая и бодро стал продолжать работу.

Редкостная голова была у гордона, пышность убранства ее можно было только сравнить с париками Людовика XIV, только зад был как бы деревянный, то ли от перенесенных побоев, то ли от чумы. После стороной я узнал, сколько побоев вынес гордон на лесной службе у крестьянина: очень возможно, что пострадал от побоев.

— Что же вы, — говорю крестьянину, — охотничью собаку и заставляете нести такую службу?

— Какую там охотничью, — пробормотал старик, — вот никак не могу научить складывать. накидать-то накидает, а нет того, чтобы сложить.

Наш разговор услышал сын старика, вышел познакомиться. Поставили самовар. Сели за чай. Я рассказывал им о беде с Яриком, и что я не прочь бы купить Верного, если бы у него оказалось хоть мало-мальски чутье. Мне же они рассказывали, что собаку в голодное время купили больше из жалости к Бендрышеву, и тот собаку хвалил. Я хорошо знал Бендрышева, это был у нас первый охотник, стрелок и дрессировщик. У меня мелькнула надежда, что, может быть, эти мужички просто не понимают, как надо обращаться с охотничьей собакой, и зря мучат ее на дровяной работе и что ее надо купить сразу на счастье, пока простецы не расчухали. Я приценился, спросили двадцать рублей, совсем пустяки. Но у крестьян никак нельзя показывать виду, что дешево, я стал торговаться. Пил чай с медом, очень потел и торговался, хотя готов был и не двадцать, а даже тридцать и больше отдать. Хозяева тоже усердно пили чай, потели и торговались и, такие чудаки, хвалили не собаку, а Бендрышева, повторяя, что Бендрышев охоту знает, как поп Егор «Отче наш». В конце концов я выторговал себе целых пятнадцать фунтов меду и с собакой и с медом, получив еще сверх всего свисток, побежал скорее домой.

Я двое суток ласкал Верного и не водил на охоту, и он так скоро привязался ко мне, что, если только я переходил в другую комнату, принимался выть и скулить. Это было добрейшее, переполненное сиротскими чувствами существо. На третий день я совершенно уверился, что Верный никуда от меня не уйдет, взял с собой ребят и пошел на охоту.

Для болота мне хорош был Ярик. Верного мы повели на веревочке в лес. Там на поляне, вблизи которой можно было ожидать тетеревиных выводков, я отпустил Верного. Он сначала ринулся в кусты, но, словно что-то забыв, вернулся и стал против нас на поляне, смотрел долго и, лохматый, то покосит голову на один бок, то на другой, и так все было похоже, будто он нас фотографирует. Сделав это, очевидно ему очень нужное, он исчез, показался, опять исчез, и все пошло как с отлично дрессированной собакой с коротким лесным поиском. Очень скоро там, где большая посеча переходит в болото, разделенная с ним густой зарослью, Верный прихватил и очень осторожно повел. В нем не было той стра-

сти, как у Ярика, и того огненного глаза, отчего сам в себе вдруг узнаешь какую-то внутреннюю собаку и совершенно забываешься, как человек. Верный вел крайне осторожно, как бы не для себя это делал, а только для нас. Слишком долго он вел, очевидно птицы удирали, и это, наконец, он понял, остановился, посмотрел туда-сюда, не торопясь сделал круг и так отрезал отступление птиц у самой крепи в отдельно стоящем кусту. После того он стал хозяйственно, без всякого волнения: пришил. Мы расставились в линию, я посередине, ребята по бокам. И так мы стояли, пока я, наконец, решился сказать: «Вперед...» Верный сделал шаг, другой, и один вылетел — выстрел, другой — еще выстрел. Мы их стреляли над крепью все трое, и они падали в топь, заросшую тростниками в рост человека и выше. Отстояв выстрелы, Верный спросился глазами, и сам пошел в топь выносить одного, другого, третьего...

Дичи было много в этом краю. В несколько дней мы настреляли почти что на стоимость новой собаки, и вот как бывает, забудешься в своем счастье: я написал бывшим хозяевам Верного, что очень доволен и не знаю, как их благодарить, и соглашаюсь вполне, что Бендрышев действительно знает охоту, как поп Егор «Отче наш». После я узнал стороной, что вот как я огорчил их этим письмом, они думали, что собака никуда не годится и Бендрышев их обманул.

В первые же дни появления Верного на моем дворе характер Ярика очень переменился. По гордости своей он решил не показывать виду, что ему неприятно общество Верного. Даже когда я беру ружье и Верный скачет вокруг меня, Ярик лежит жерновком и вида не показывает, что ему хочется на охоту. А между тем сам очень страдает, и стоит только мне позвать его, как бросается со всех ног и оттирает Верного. Раньше он был большой неряха, и когда ему дашь кость, то хорошенько ее выгрызет, а что потверже, похуже, бросит. Теперь из опасения, что остаток достанется Верному, лежит возле пищи и, если Верный близко подходит, рычит. Позовешь к себе, идет с костью в зубах, нужно выйти до ветру — все с костью идет и делает. С тревогой наблюдал я, как изо дня в день Ярик искал повода сцепиться с Верным, и я очень боялся этого, потому что по старому опыту знал характер таких сиротливых и добрых собак, как

Верный: терпит, терпит, зато уж как возьмется, так доведет войну до конца.

Однажды у нас на дворе полоскали белье и оставили корыто с подсинькой. Ярик глодал кость возле самого корыта, и когда оказалось, что одну пластинку ему не разгрызть, подсунул ее под корыто, чтобы Верный не заметил. В это время я кликнул Верного на охоту. Ярика это, конечно, больно укололо, но вида он не подал и затаил злобу на Верного. И уж само собой, такой умница и хитрец, Ярик отлично знал, что, когда зовут на охоту, тут не до кости. Между тем Верный побежал именно по тому самому месту, где была запрятана кость, и Ярику был отличный повод, не обнаруживая ревности, броситься на Верного будто бы из-за кости. Он сделал это с такой силой и ловкостью, что Верный, вообще плохо владеющий своим деревянным задом, грохнулся спиной в корыто с подсинькой, ногами вверх, будто опрокинулась деревянная лошадка. Я понял так Верного, что ему, претерпевшему испытание дровами и страшные побои поленьями, вовсе не так уж зазорно было полежать секунду в подсиньке вверх ногами или показаться хозяину мокрым, и боли он тоже не чувствовал, но ведь он же совсем не был виноват, он не за костью бежал: из-за чего же этот рыжий барин бросился, и не пора ли, наконец, с этим покончить и раз навсегда. И вот он, выскочив из корыта, во много раз сильнейший, бросился на Ярика.

Обыкновенно, когда силы очень неравны, слабейший при бурном натиске ложится на землю и переворачивается ногами вверх, сильнейший тогда наседает, но не грызет, а только рычит и, подержав порядочное время побежденного в таком положении, отпускает и где-нибудь поблизости у столбика или у дерева оставляет заметку, вернее всего с какими-нибудь условиями сожительства на будущее время. Побежденный, понюхав заметку, оставляет на том же месте свою: вероятно, просто расписывается. Редко я наблюдал, чтобы слабейший в своей расписке делал какие-нибудь оговорки, но когда это все-таки бывает, то сильнейший делает новую заметку, и слабейший потом расписывается окончательно.

Но можно ли себе представить, чтобы такой гордец, Ярик, вдруг взял бы и перевернулся вверх брюхом,—

конечно, он бросился в бой и первое время грызся с большим успехом.

Не помня себя от страха за Ярика, я бросился сначала к корыту и вылил всю синюю жидкость на сцепленные разъяренные морды,— ничего это не помогло. Тогда я схватил Верного за хвост и, дав ногой Ярику в грудь, отволок черного, но тем сильней рванулся рыжий и вцепился в него. Я схватил за хвост Ярика, оттащил его, еще хуже. Верный впился в Ярика, и еще бы немного ближе к горлу, и Ярику был бы конец. Но как раз в эту роковую минуту прибежали мои ребята и растащили противников за хвосты.

Верный по своему характеру не помнил зла, но Ярик пошел теперь в открытую вражду, и на дворе нашем жизнь стала совсем невозможная. Пришлось собак разделить, но ведь как усмотришь: стало на душе беспокойно.

Однажды в сентябре, когда можно было быть совершенно уверенным, что в лесу не найдешь тетеревиной матки с молоденькими, я попробовал поохотиться в лесу с Яриком, и мне это удалось хорошо. Ярик работал прекрасно. Обрадованный успехом моего приема исправить собаку спокойной работой из-под другой собаки, а может быть просто потому, что было жарко и я устал, только, придя домой, я забыл про Верного и оставил Ярика на том же дворе.

Во время обеда вдруг мы услыхали ужасное рычание под окном и, глянув туда, увидели, как оба врага медленно подступают с поднятой шерстью.

Тут малейшее движение с нашей стороны, крик, и оба непременно бросятся в бой: мы сидим, затаив дыхание, в надежде, что как-нибудь обойдется, рассчитываем, что Ярик сегодня удовлетворен охотой, а Верный вообще добрейший пес.

С грозно поднятой шерстью Ярик подошел к Верному вплотную: тот не рычал, но мрачно ждал, что будет дальше. Ярик делает вокруг Верного медленный обход, подходит к стене и оставляет на ней свою первую заметку, вероятно, условие договора. В это время крайне осторожно подходит к Ярику Верный и, пока тот пишет заявление, обнюхивает у него основание хвоста. Потом, прочитав написанное на стене, Верный делает какие-то свои поправки, а Ярик нюхает основание хвоста Верно-

го. Ярик согласен, расписывается, после чего Верный, сделав полукруг, в последний раз окончательно подписывает бумагу, что, в сущности, у них, вероятно, означает ратификацию мирного договора.

С тех пор у нас мир на дворе и на охоте строгое разделение обязанностей: Верный больше по лесу и в лесу по крепким местам с колокольчиком на тетеревов, белых куропаток и на осенних жирных вальдшнепов, Ярик по болоту на бекасов, дупелей, в поле на серых куропаток; в лесу же я спокоен с ним только на видных местах, в редких кустарниках, на опушках и полянках.

[*1926*]

КЭТ

Кэт — собака от премированных родителей, хорошо известных всем знатокам собак. Порода ее современная легавая *континенталь*. Рубашка у Кэт двухцветная, на спине два седла, остальное все по белому как бы кофейные зерна рассыпаны.

Это я переименовал ее в Кэт, а у хозяев она звалась Китти. Владельцы собаки были интеллигентные молодожены. Первые два года у них не было детей, и Китти заменяла им ребеночка. Все два года она лежала у них на диване в Москве. Еще бы немного, и охотничья собака прекрасной породы превратилась бы в бесполезную изнеженную фаворитку. Но к концу второго года молодой женщине стало трудно спускаться и подниматься с собакой на пятый этаж, а муж весь день был на службе. В это время у меня случилось несчастье с Верным — его искусала бешеная собака, и мне было бы теперь слишком тяжело рассказывать, как пришлось с ним расстаться. Узнав о легавой, я, все-таки недовольный своим слишком горячим Яриком, решил заняться этой собакой, уговорил хозяев, они недорого мне ее продали и, всплакнув, просили никогда не бить.

Я слышал от опытных дрессировщиков, что двухлетний возраст для натаски не беда, лишь бы только собака была не тронута неумелой рукой. А Кэт была до того не испорчена, что даже за птичками не гонялась, охотилась вначале только за цветами: на ходу очень любила скусить и высоко подбросить венчик ромашки. Свойство ее породы — исключительная вежливость и понятливость,

и хорошо было, что она самка: сучка всегда умней. Все, что называется *комнатной дрессировкой*, я проделал с ней почти что в один день. Я положил на пол белого хлеба, и когда собака сунулась было к нему, я с громким криком «тубо» угостил ее щелчком.

— Это тебе, — говорю, — не в Москве на диване лежать.

В четверть часа я не только научил ее не хватать пищи без позволения, а даже не трогать кусочек, если он лежал на носу.

Потом я выучил ее *вперед* и *назад*, действуя исключительно только повышением голоса, *ищи, сюда, тише, к ноге*. На другой день я учил собаку в густом орешнике, где не было никакой дичи: я прятался в кустах, она меня разыскивала, и так в один день я научил ее короткому лесному поиску. В поле, конечно, не сразу далось: я ходил, как яхта против ветра, галсами, движением руки или легким посвистыванием заставлял ее делать то же самое. Дня три я так ходил, и, наконец, все необходимое для начала натаски по живой дичи было сделано.

Я повел Кэт в натаску на болото, когда бекасы и дупеля еще не высыпали из крепких мест в открытые, и там были только молодые чибисы. Написано совершенно неверно в охотничьих руководствах, что будто бы чибис плохой материал для натаски: я не знаю лучшего. Правда, горячих собак старые чибисы несколько волнуют, но их легко разогнать выстрелами, зато уж молодой лежит рыжей лепешкой до того крепко, что очень легко ногой наступить.

Кэт поначалу не чуяла этих лепешек, я нашел сам, сковырнул, лепешка сделалась чибисом, и он, не умея еще летать, заковылял между кочками. Сказав *умри*, я уложил собаку, но позволил ей провожать глазами чибиса, пока он опять не залег между кочками лепешкой.

— Тихо, вперед!

И Кэт пошла, ужимаясь. Стойки не сделала, а только понюхала, и тот опять тронулся в ход. Я повернул голову собаки в другую сторону, чтобы она не видела, где снова заляжет чибис, сам же заметил и пустил искать против ветра галсами.

Ветру она не взяла, но нижним чутьем прихватила и принялась строчить, как на швейной машинке, пока не

нашла. Стойки опять не было, опять она спихнула чибиса носом. Я проделал то же сто раз и ничего не добился: причуять по воздуху и остановиться собака не могла. Я ушел с болота в раздумье: очень может быть, что собака за два года комнатной жизни в Москве потеряла природное чутье. Но, может быть, в новых условиях чутье возродится.

Ляхово болото, где я проделывал опыты с чибисами, от меня восемь верст. Мне невозможно было ходить туда часто и следить, когда появятся на чистых местах бекасы и дупеля. Но зато у себя, возле озера, в болотных зарослях, я нашел болотинку десятины в две, и Кэт сковырнула тут двух старых бекасов. По этим двум бекасам я и стал ежедневно натаскивать собаку. Все-таки и эта прогулка у меня отнимала утром часа два, и притом каждый раз необходимо было переодеваться, потому что пролезать на болотинку надо было по очень топким местам. И досадно же было возвращаться всегда с одним и тем же результатом: Кэт, ковыряя в болоте, спугивала бекасов без всякой для себя пользы.

Однажды я взял с собой на болото ружье и убил одного из бекасов. Он свалился в крепь. Кэт его там разыскала, но совершенно так же, как молодого чибиса: крутилась до тех пор, пока уставилась в него носом в упор. Все-таки польза была от этого, что она познакомилась с запахом птицы, так что на другой день я мог рассчитывать на какое-нибудь новое достижение.

Муки творчества, я думаю, переживают не только поэты, в собачьих делах муки не меньше, и тоже вдруг ночью приходит в голову иногда ясная мысль, от которой потом начинаются новые пути в исканиях. Мне вспомнился ночью спор в журнале «Охотник» о жизни бекасов: одни писали, что самец-бекас после оплодотворения самки не участвует в дальнейшей жизни семьи, другие, напротив, говорили, что бекас-самец часто держится возле гнезда. И вот я подумал о своих двух бекасах, что один был самец, а другая — самка и что тут вблизи должно быть у них непременно гнездо. Утром я с большим интересом иду на болотце. Кэт ковыряется, бекас вылетает, она добирает и торчит в одной точке. Раздвигаю болотную траву и нахожу на кочке четыре бекасиных яйца, поражающих своей величиной относительно тела самого бекаса.

Хорошо, как хорошо. Я теперь буду ежедневно приучать собаку к стойке, буду непременно подводить на веревочке, разовью постепенно чутье, потом выведутся молодые бекасы, буду их ловить, прятать...

Как интересно было на другой день прийти на это болото, но того, что случилось, я не ожидал. Всего от входа в болотце и до гнезда, я думаю, шагов двести, и вот как только вышла Кэт из кустов, самое большее, может быть, прошла шагов пятьдесят, значит, уже наверное на полтораста шагов, делает стойку, ведет, ближе, ближе, да как ведет-то: тяп, тяп своими тонкими ножками, как балерина. Сапожищи у меня конские, огромные, что нужно на ногу целый дом тряпья навернуть. Она ступит, и слышно разве только, что капелька стукнет о воду. Я иду как мамонт. Из-за моего шума она останавливается, смотрит на меня страшно строго и только не говорит:

— Тише, тише, хозяин!

Шагов за пять она остановилась окончательно, я оглаживал ее, поощрял двинуться еще хоть немножечко, но дальше двинуться было невозможно: как только я хляпнул своим сапогом, бекасиха вылетела.

Кэт взволновалась, казалось, говорила:

— Ах, ах, что такое случилось?

Но с места не двинулась. Я позволил ей осторожно подойти и понюхать гнездо.

Я был счастлив, но когда выходил с болота, то заметил начало болотного сенокоса, и мне сказали, что это болотце тоже будут косить сегодня же вечером. Нельзя было попросить крестьян не трогать гнезда, их было много, и один непременно нашелся бы такой, который нарочно бы и разорил, если бы я попросил. Я вернулся на болото, срезал несколько ивовых веток, воткнул их возле гнезда, и получился кустик. Я боялся только одного, что бекасиха испугается веток и бросит гнездо. Нет, на другой день Кэт повела меня по скошенному болоту совершенно так же, как и вчера, и остановилась возле окошенного кустика опять на пять шагов, и опять бекасиха вылетела.

Одновременно со мной, конечно, где-то в других местах натаскивали своих собак художник Борис Иванович и один доктор. У Бориса Ивановича был французский пойнтер, у Михаила Ивановича ирландская сука.

Вот я позвал их к себе, будто бы просто чаю попить, побеседовать, а потом завел их в болотце и показал...

Словом, я затрубил в трубу, счастье мое было так велико, что даже неловко было, и я говорил художнику:

— Вы очень умно сделали, Борис Иванович, что для натаски взяли пойнтера, видите, мой в три недели готов.

Доктору я говорил:

— Вы очень умно сделали, Михаил Иванович, что выбрали ирландского сеттера, поработаете, но зато потом уж собаку получите незаменимую.

Конечно, они мгновенно разнесли слух о моих необыкновенных способностях натаскивать собак, и в своем месте я стал знаменитостью.

Нет, молодые собачники, охотники, молодожены, поэты, не верьте никогда внезапному счастью, знайте, напротив, что иллюзия эта на самом деле есть величайший барьер на вашем пути, и вы должны не сидеть на нем, а перескочить. Неделю, не больше, я наслаждался идеальными стойками замечательно породистой Кэт...

Болотце, когда сено убрали и прошло с неделю времени, еще лучше позеленело, чем было, и раз, когда я пришел на него в чудесный серенький день, выглядело страшно аппетитно, казалось, вот-вот должен вылететь бекас. И он, правда, как только ступила Кэт, вылетел. Она на него не обратила никакого внимания. Потом вылетел у нее прямо из-под ноги совсем еще молодой бекасенок. Собака, не обращая внимания, вела к гнезду, как безумная. И другой молодой вылетел, и третий, и четвертый, пятый... Она все вела и вела. И так же, как раньше, стала мертво в пяти шагах от гнезда, а когда я посмотрел, в гнезде были только скорлупки.

Я подумал, что гнездо пахнет сильнее самих бекасов, и выбросил скорлупки.

На другой день собака вела по кочке.

Уничтожаю кочку, складываю на месте гнезда сушь, зажигаю костер.

Собака сталкивает ногой молодых бекасов и ведет по кострищу.

Значит, все время с самого начала она работала только по памяти.

Значит, все было только *представление*.

Значит, собака не чует самую жизнь, а только ее представляет. Это не собака — друг и помощник охот-

ника, не производительница живых чутьистых щенков,— это собака-актриса.

Многие охотники в таких случаях выстрелом кончают с такой собакой. Я же решил попробовать уговорить ее прежних хозяев взять ее обратно, намекнув на обычный конец таких собак у охотников.

В день разрешения охоты я позабавился с ребятами стрельбою уток: это не моя охота. Через неделю ходил по тетеревиным выводкам — люблю, но не совсем. Я люблю стрелять самых поздних тетеревов, и когда собака останавливается на громадном от них расстоянии, сам соображаешь, как бы так зайти, чтобы их встретить, и когда это удастся, то каждый убитый за десять летних считается.

Рябина все краснеет и краснеет. Стрижи давно улетели. Табунятся и ласточки. Скосили овсы. Пожелтели сверху донизу липы, а в болотах осины и березы. Было уже два легких морозца. Почернела ботва картофеля, и начался разрыв души у охотника: в лесу — интересные черные тетерева, в болоте — жировые бекасы, в поле — серые куропатки.

Стараюсь все захватить, но сказали:

— Вчера Борис Иванович убил пролетного дупеля.

Тогда тетерева, куропатки — все брошено, и я за восемь верст в Ляховом болоте стерегу валовой пролет, и если сегодня два убито, а завтра три, говорю: *подсыпают*.

Вот однажды в самый разгар дупелиных высыпок мои ужасные сапоги наконец-то растерли так мою ногу, что идти в болото было уже невозможно. Нанять лошадь во время рабочей поры и дорого и, главное, мне стыдно: такой уж я уродился, не могу *ехать на охоту*.

Денек задумался. В больших березах золотые гнезда. Такая грустная, такая жалкая подходит ко мне Кэт. Как она похудела!

Мне стало жалко хорошенькую собачку. Серые куропатки у нас прямо за двором на жнивье, и потому что это так близко, я их за дичь не считаю, берегу, не стреляю. Но почему же не попробовать на них собаку и парочку не убить на жаркое?

Выхожу в поле в сандалиях. Ветерок дует как раз на меня. Пускаю Кэт, как яхту, галсами против ветра. На одном из первых галсов она схватила воздух, прыгнула

в сторону и стала. Она постояла немного и грациозно, как балерина, прыгнула в другую сторону, опять стала и глядела все в одну точку. Потом она постояла и начала все это пространство между мной и невидимой целью, бегая из стороны в сторону, срезать, как сыр, тонкими ломтиками. Когда, обнюхав, она поняла, что уже недалеко, вдруг повела совершенно так же, как тогда по пустому бекасиному гнезду.

Стала она, как мотор, вся дрожала, удерживаясь с трудом от искушения прыгнуть в самую точку запаха.

И вдруг! Знаете, с каким треском вылетает громадный, штук в тридцать, табунок серых куропаток? Я выстрелил и раз и два. Обе куропатки упали недалеко.

И она это *видела.*

Тогда-то, наконец, мне все стало ясно. Я натаскивал собаку в лесном болотце, окруженном кустами, где не было движения воздуха. Там она не могла понять, что от нее требуют, и тыкалась носом в землю. Тут от сильного ветра у нее сразу пробудилось забитое городом уменье пользоваться чутьем.

Но раз она поняла по куропаткам, то непременно должна в открытом болоте взять бекасов и дупелей. Я совсем и забыл, что вышел в сандалиях, что с собой у меня нет и корочки хлеба. Да разве можно тут помнить! Прямо, как есть, я спешу, почти что бегу в Ляхово болото за восемь верст.

Первое испытание было в очень топком месте, так что собаке было по брюхо. Она повела верхом к темнеющей кругловинке. Это оказалось прошлогодней остожиной. Там поднялись сразу дупель и бекас. Я успел убить только дупеля. Но она разыскала и перемещенного бекаса. Я убил и бекаса. А потом все пошло и пошло.

Ляхово болото тянется на пять верст, а солнце спешит. Я до того дохожу, что прошу солнце хоть немножечко постоять, но бесчеловечное светило садится. Темнеет. Я уже и мушки не вижу, стреляю в наброс.

Потом я выхожу из болота на жнивье и чувствую страшную боль в ноге: жнивье впилось в мои раны, а сандалии давно и совершенно нечувствительно для меня потонули в болоте.

После больших и прекрасных охот в Ляхове мне случилось однажды зайти на ту болотинку-сцену, где Кэт

когда-то давала свое, чуть не погубившее ее жизнь, представление. И вот какая у них оказывается память: ведь опять подобралась и повела было по пустому месту. Но запах настоящего живого бекаса перебил у нее актерскую страсть, и, бросив фигурничать, она повела в сторону по живому. Я не успел убить его на взлете, стал вилять за ним стволом до тех пор, пока в воздухе от этих виляний мне не представилась как бы трубочка, я ударил в эту трубочку, и бекас упал в крепь. В этот раз я, наконец, решился послать собаку принести, и скоро она явилась из заросли с бекасом во рту.

[*1925*]

ЛЮБОВЬ ЯРИКА

Иногда я, отправляясь в лес с собакой, зарекаюсь не говорить с ней ничего человеческими словами и объясняться только глазами, движением руки да в крайнем случае нечленораздельными звуками. Это не очень легко, но зато объяснение с животным в молчании заставляет напрягать внимание, и начинаешь понимать его душу, как бы из себя самого. Так, мне кажется, я понял любовь Ярика и Кэт в их молчании больше, чем если бы они разговаривали, а я бы подслушивал.

Они встретились неважно. Он ее немного понюхал, ей не понравилось, он отошел и залег в углу. С этого часа у него переменился характер: рыжий красавец с шестинедельного возраста привык получать от нас нераздельные ласки. Я не очеловечиваю животных, не идеализирую, у меня есть доказательства, что у охотничьих собак высшей породы связь с человеком в охоте сильнее голода: как бы ни был голоден Ярик, он бросает еду, если только завидит меня с ружьем. Нашу связь в охоте не может нарушить даже любовь в момент ее самого сильного животного напряжения. Было это вскоре после того, как мне доставили Кэт, у нее началась *пустовка,* и потому пришлось Ярика отправить в сарай к гончему Соловью. Не обращая внимания на болезнь Кэт, я продолжал ее натаскивать в лесу и болоте, потому что я жил вдали от деревни и мало было опасности встречи с другими собаками. Однажды, раздумывая о силе охотничьего инстинкта у собак, я решился на рискованный опыт и захватил с собой вместе с Кэт и Ярика. Это было

опасно не только потому, что немецкая легавая могла в кустах повязаться с ирландским сеттером и дать ненужное мне потомство ублюдков, но главное, что Кэт уже второе поле проводила без натаски, и если пропустить еще одно, то собака уже наверное останется неученой. И все-таки, в задоре своих психологических раскопок в собачьей душе, я решился на опыт и пустил Ярика и Кэт сначала в поле, а потом в кустарники. В этот день я пережил несколько минут большого волнения, когда обе собаки, исчезнув в кустах, не вернулись. Я бросился вслед за ними, но не нашел их в том направлении, обежал весь предполагаемый круг — их не было, свистел — не приходили. Тогда, потеряв равновесие, я носился по кустам без всякого расчета, проклиная свою рискованную затею. К счастью, пестрая, кофейно-белая рубашка немецкой легавой мелькнула, наконец, перед моими бегающими в волнении глазами, и по ней уже я открыл и Ярика. С безумно устремленными на невидимых в траве птиц глазами, Ярик стоял, как бронзовый, а за ним, еще ничего не понимая в охоте, в полном недоумении стояла Кэт и роняла на траву и лесные цветы алые густые капельки крови. А ведь у них было довольно времени, чтобы подготовить мне встречу совершенно другую. Значит, моя правда: охотничьи собаки потому и охотничьи, что искусство, от которого они ничего себе не получают, им дороже самой могучей, приводящей весь мир в движение страсти.

После этого опыта я возвращался домой счастливый, и он дает мне смелость признаться: я тоже раз в жизни упустил свою Кэт, устремленный страстью своей к какой-то невидимой цели. Теперь я счастлив узнать, что так бывает не только у людей, но и у животных высшей породы.

Мне пришлось потом еще несколько дней продержать Ярика вместе с гончим в сарае, но я часто заходил к нему и ласкал, называя совсем другим, человеческим именем, и Кэт ласкал, называя просто Катюшей. Это мое собственное изобретение — двойные собачьи имена: одно на работе, другое дома, одно для безусловного повиновения, другое, позволяющее иногда быть собаке деспотом своего господина. Да, попробуйте-ка удержаться в роли строгого дрессировщика, когда Ярик сфинксом, сложив крестиком передние лапы, разляжется на окне и в сол-

нечных лучах его красная шерсть светится непередаваемыми нынешними художниками какими-то тициановскими тонами. В эту минуту я говорю ему почему-то:

— Кирюша, дорогой мой!

Он и не тронется, напротив, отлично понимая, что я наслаждаюсь его красотой, еще крепче застынет в своей гордой позе.

А если я скажу даже совсем тихо:

— Ярик! — Он делает что-то с ушами, умиляется, разрушает великолепные крестики своих лап и, постукивая, начинает своим волосатым хвостом подметать пол.

После опыта в лесу во время пустовки Кэт у нас с Яриком было большое человеческое объяснение в сарае, но я заметил по его гордой манере как бы некоторый налет отчужденности. И потом, когда пустовка окончилась и я ввел его опять в дом, он стал держаться иначе. Вот наливается в собачью чашку суп. Этот знакомый звук привлекает Кэт, и она стоит в ожидании, мелькая своим обрубком. Раньше, бывало, и Ярик спешил, а теперь он лежит в углу, не обращая на звук никакого внимания: он очень горд и не хочет соваться. В этом он доходит до того, что неохотно и подымается, когда его прямо зовешь обедать. И когда мы обедаем, бывало, прежде Ярик дежурил в ожидании лакомого кусочка, теперь он лежит под столом, а Кэт дежурит и так напряженно следит за всем, что даже противно, возьмешь и прогонишь. Но Ярик и в отсутствии Кэт никогда уж не займет прежнего своего положения возле стола. И мы понимаем дома, что Ярик не прежний Ярик, что он никогда не простит нам появления Кэт.

Когда наступило время охоты, у меня явилась заминка в отношении Кэт, я не понял ее способностей и охотился с Яриком. Снова Ярик занял прежнее положение, являлся первый по звуку наливаемой пищи, сидел у стола во время обеда, а Кэт сзади его мотала обрубком и так неприятно умно глядела, что часто получала от нас: «На место!» К концу охоты вдруг Кэт на охоте взяла такое первенство, что с Яриком ходить мне стало неинтересно. Меня очаровала спокойная, умная работа немецкой легавой. Я решил перейти вообще на легавых и непременно получить от Кэт щенков. В этой местности для моей Кэт подходящим супругом мог быть только Джек,

принадлежащий одному художнику. Во время дупелиного пролета мы решили познакомить собак, попробовать, как они будут ходить. И все вышло прекрасно. Мы часто, забывая готовить ружья для выстрела, любовались, как расходились умные собаки для поиска, сходились, опять расходились и останавливались на следах, потом подводили, стояли неподвижно и оглядывались на нас, торопя, когда, любуясь, мы не спешили. После охоты мы варили себе на берегу болота чай и беседовали о будущем потомстве немецких легавых континенталь. Собаки, умореннные, свернулись калачиками. Они могли спокойно спать и не волновались, как люди, вопросами о бытии божием: мы были их боги, и судьба их была в наших руках.

Раз мы с ребятами в доме остались одни, и когда Кэт начала свою игру с Яриком, мы разрешили собакам бегать вокруг стола, валять стулья, вскакивать на диван, не пожалели скатерть, сдернутую со стола вместе с чашками, не удержали собак даже, когда они, разгоряченные, принялись лакать воду из чистого ведра. Безумие собак и нас увлекло, и мы решили досмотреть игру до конца. Первое время Ярик, когда страсть его переходила законные границы, бросался на пол и ложился вверх брюхом. Кэт ложится на него и до того его наломает, натормошит, что он, совсем обессиленный, лежит, свесив язык, и хахает. Но вот ловкая, тонкая, как змея, неистощимая в придумках Кэт выводит его совсем из себя, он вдруг вскакивает, бросается к ней, крепко охватывает ее шею лапами, а сам перемещается. На мгновение она задумывается и вдруг, оскалив зубы, с рычанием кидается на него и больно кусает. Опустив хвост, Ярик, весь какой-то жалкий, помятый, ложится на свой матрацик и с темными пятнами вокруг своих человеческих глаз долго, не отрываясь, глядит на ножку стула.

На следующий день он ей не отвечает на ласки, она пристает, он глухо рычит, она не обращает внимания на рык, прыгает через него, хватает за уши, за хвост, теребит его лапами так, что летит рыжая шерсть. У Ярика есть такой затаенный прием ловить кусочек, когда мы, балуясь, подвешиваем его на нитку и делаем в воздухе недалеко от его пасти разные фигуры: он как будто не обращает внимания, а сам долго вымеряет, рассчитывает и, внезапно бросаясь, всегда безошибочно ловит.

Так и в игре с Кэт он вдруг бросился, все рассчитав верно и упустив только одно, что никогда он не может получить, если время еще не пришло. Он получил хороший укус. И какое унижение для такой гордой собаки: лезет, несмотря на острые зубы, еще получает и опять лезет. Но, конечно, она заставила его вернуться в свой угол, и тут он опомнился и увидел наверно сам себя простым кобелем, жалким, искусанным, обиженным. До вечера он зализывает свои раны, а ночью ходит из угла в угол. Просыпаясь, я думаю, что ему надо выйти, выпускаю, он возвращается и опять начинает ходить. Сквозь тонкий сон я до утра слышу, как по сухому гулкому полу стучат его коготки.

Утром я замечаю у Кэт известные признаки, записываю число и увожу Ярика в сарай к гончей. Потом все совершается точно по рациональному руководству ухода за породистыми собаками. На одиннадцатый день явился ко мне Борис Иванович с Джеком, и мы повязали его с Кэт. Эта любовь, как мы заметили по часам, продолжалась пятнадцать минут.

Зима держалась утренними и вечерними морозами. Ночью все подваливал снег, но с нашей горы ветер сдувал снежную пыль, и на солнце гора наша сверкала ослепительно чистым серебром. Громоздились новые летние облака над снегами, в лесах просвечивает голубое небо, вороны орут, не помня себя, синички все до одной поют брачным голосом, на лисьих следах показалась менструальная кровь.

Из шестидесяти трех дней собачьего плодоношения приходят последние. Даже самые маленькие верхние сосцы Кэт заметно набухли, и все вместе стали грядочками, мало-помалу принимая чудесный вид сосцов сказочной волчицы, вспоившей Ромула и Рема. Кэт не становилась безобразной даже в самые последние свои дни, потому что все ее тяжелое было внизу, и там, у земли, это было на месте и хорошо. Мы накупили много говяжьих костей, варили прекрасный бульон и, смешивая с овсянкой, давали ей, сколько она пожелает. Но всего поесть она никогда не могла. После нее из-под лавки появляется Ярик, очень осторожно подходит и доедает: он вообще как-то стушевался, осмирнел. Весь день он в львиной позе, сложив передние лапы крестиком, лежит на окне в лучах весеннего солнца и мечтает, вероятно, о

близких уже днях весеннего перелета птиц. Я тоже много сижу у окна и очень часто, совсем не думая о Ярике, вместе с ним одинаково повертываю голову в ту и другую стороны, смотря по событиям в снегах за окном. Я задумываю новый план дрессировки собак, чтобы вся учеба проходила в полном молчании, чтобы все объяснения были бы только глазами и движениями рук. Вот если этого достигнуть, то можно приблизиться к совершенному пониманию их души прямо из себя самого. Тогда, может быть, научусь и любовь их понимать, и буду рассказывать о чувствах Ярика во время беременности Кэт.

Пока я такое разное и множество еще всего думал, повертывая голову вместе с Яриком за переходящими голубыми тенями кучевых облаков на снегах, Кэт разыскивала меня по комнатам и, увидав у окна, подбежала и легла. Она что-то просит. Я иду, она вскакивает и бежит к двери. Выпускаю, она быстро оправляется и назад. Я не догадываюсь и остаюсь несколько времени один на дворе, а когда возвращаюсь домой, то сразу же обращаю внимание на какие-то особенные звуки в комнате Кэт: она там громко беспрерывно лакает и лижет. А когда я вошел к ней, то увидел возле нее маленькую, новую, слепую собаку с совершенно такими же, как у нее, по белому кофейными пятнами. Нам не нужно было ей помогать, она делала все сама языком, откусывала, проглатывала и так хорошо вычищала, что щенятки в белых местах сияли, как самый первый снег. Все шло так благополучно, только на пятом белки ее глаз стали голубыми, она обессилела и повалилась. Но мы дали ей немного вина, и она родила последнего — шестого, и это был, к счастью, ожидаемый Рем. Нам особенно нужны были кобельки, и их родилось только два — Ромул и Рем.

Проходит несколько минут самоакушерства, мытья, и вот все готово, нигде нет ни малейшего пятнышка, чисто вымытые слепые дети друг через друга с писком ползут, знают куда, находят, присасываются. Теперь, друзья жизни, идите, смотрите молча в эти глаза матери, об этом нельзя говорить...

Так мы смотрели, и вдруг все изменилось: мать дрогнула, лютой злобой загорелись глаза, ощетинилась шерсть от шеи до хвоста. Мы оглянулись и увидели в

дверях рыжую голову Ярика: он тоже захотел посмотреть. Еще хорошо, что он успел повернуться, и она впилась ему не в горло, а в зад. Он бежал с визгом, она преследовала его до кухни. Потом вернулась, легла и мелко, мелко дрожала до самого вечера.

К нам приехали гости, за чаем я рассказывал о собачьей любви, как Ярик тогда, в первую пустовку, стоял по невидимой дичи, не обращая внимания, что Кэт роняла на траву густые капельки крови, как зимой они целый месяц играли, и о Джеке рассказал, и об этой непонятной злобе Кэт, когда Ярик тоже захотел посмотреть и просунул в дверь свою рыжую голову.

— Почему непонятной? — сказала одна дама, очень опытная в любви.— Будь у меня такой Ярик, я бы его в клочки разорвала.

— Но ведь он же не виноват,— ответил я,— ведь это мы, боги собачьи, дали иной ход любви и заменили Ярика Джеком.

— Боги тоже ошибаются,— сказала дама,— у него был такой прекрасный случай в кустах, а он дураком простоял по невидимой цели.

[*1926*]

ПЕРВАЯ СТОЙКА

Мой легавый щенок называется Ромул, но я больше зову его Ромой или просто Ромкой, а изредка величаю его Романом Василичем.

У этого Ромки скорее всего растут лапы и уши. Такие длинные у него выросли уши, что когда вниз посмотрит, так и глаза закрывают, а лапами он часто что-нибудь задевает и сам кувыркается.

Сегодня был такой случай: поднимался он по каменной лестнице из подвала, зацепил своей лапиной полкирпича, и тот покатился вниз, считая ступеньки. Ромушка этому очень удивился и стоял наверху, спустив уши на глаза. Долго он смотрел вниз, повертывая голову то на один бок, то на другой, чтобы ухо отклонилось от глаза и можно было смотреть.

— Вот штука-то, Роман Василич,— сказал я,— кирпич-то вроде как живой, ведь скачет!

Рома поглядел на меня умно.

— Не очень-то заглядывайся на меня,— сказал я,— не считай галок, а то он соберется с духом, да вверх поскачет, да тебе даст прямо в нос.

Рома перевел глаза. Ему, наверное, очень хотелось побежать и проверить, отчего это мертвый кирпич вдруг ожил и покатился. Но спуститься туда было очень опасно: что, если там кирпич схватит его и утянет вниз навсегда в темный подвал?

— Что же делать-то,— спросил я,— разве удрать?

Рома взглянул на меня только на одно мгновение, и я хорошо его понял, он хотел мне сказать:

«Я и сам подумываю, как бы удрать, а ну как я повернусь, а он меня схватит за прутик?» [1]

[1] Хвост у пойнтера называется по-охотничьи прутом.

Нет, и это оказывается невозможным, и так Рома долго стоял, и это была его первая стойка по мертвому кирпичу, как большие собаки постоянно делают, когда носом почуют в траве живую дичь.

Чем дольше стоял Ромка, тем ему становилось опасней и страшней: по собачьим чувствам выходит так, что чем мертвее затаится враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживет и прыгнет.

«Перестою»,— твердит про себя Ромка.

И чудится ему, будто кирпич шепчет:

— Перележу.

Но кирпичу можно хоть и сто лет лежать, а живому песику трудно, устал и дрожит.

Я спрашиваю:

— Что же делать-то, Роман Василич?

Рома ответил по-своему:

— Разве брехнуть?

— Вали,— говорю,— лай!

Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, со страху ему показалось, будто он разбудил кирпич и тот чуть-чуть шевельнулся. Стоит, смотрит издали,— нет, не вылезает кирпич. Тихонечко подкрадывается, глядит осторожно вниз: лежит.

— Разве еще раз брехнуть?

Брехнул и отпрыгнул.

Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать, впилась глазами в то место, куда лаял сын, и медленно с лесенки на лесенку стала спускаться. На это время Ромка, конечно, перестал лаять, доверил это дело матери, и сам глядел вниз много смелее.

Кэт узнала по запаху Роминой лапы след на страшном кирпиче, понюхала его: кирпич был совершенно мертвый и безопасный. Потом, на случай, она постепенно обнюхала все, ничего не нашла подозрительного и, повернув голову вверх, глазами сказала сыну:

— Мне кажется, Рома, здесь все благополучно.

После того Ромул успокоился и завилял прутиком. Кэт стала подыматься, он нагнал мать и принялся теребить ее за ухо.

[*1926*]

ШКОЛА В КУСТАХ

Необходимо научить молодую легавую собаку, чтобы она бегала в поле вокруг охотника не далее ружейного выстрела, на пятьдесят шагов, а в лесу еще ближе, и главное всегда бы помнила о хозяине и не увлекалась своими делами. Вот это все вместе — ходить правильными кругами в поле и не терять хозяина в лесу — называется правильным поиском.

Я пошел на холм, покрытый кустарником, и прихватил с собой Ромку. Этот кустарник отводят жителям слободы для вырубки на топливо, и потому он называется *отводом*. Конечно, тут все поделено на участки, и каждый берет со своей полосы, сколько ему понадобится. Иной вовсе не берет, и его густой участок стоит островком. Иной вырубает что покрупнее, а мелочь продолжает расти. А бывает и все вырубят дочиста, на такой полосе остается только ворох гниющего хвороста. Вот почему весь этот большой холм похож на голову, остриженную слепым парикмахером.

Трудно было думать, чтобы на таком месте вблизи города могла водиться какая-нибудь дичь, а учителю молодой собаки такое пустое место на первых порах бывает гораздо дороже, чем богатое дичью. На пустом месте собака учится одному делу: правильно бегать, ни на минуту не забывая хозяина.

Я отстегнул поводок, погладил Ромку. Он и не почувствовал, когда я отстегнул, стоял возле меня, как привязанный.

Махнув рукой вперед, я сказал:

— Ищи!

Он понял и рванулся. В один миг он исчез было в кустах, но, потеряв меня из виду, испугался и вернулся. Несколько секунд он стоял и странно смотрел на меня,— казалось, он фотографировал, чтобы унести с собой отпечаток моей фигуры и потом постоянно держать его в памяти среди кустов и пней, не имеющих человеческой формы. Окончив эту свою таинственную работу, он показал мне свой вечно виляющий прут и убежал.

В кустах — не в поле, где всегда видно собаку. В лесу надо учить, чтобы собака, исчезнув с левой руки, сделала невидимый круг и показалась на правой руке, вертелась волчком.

И я должен знать, что если собака не вернулась с правой руки, значит где-нибудь она вблизи почуяла дичь и стала по ней. Особенно хорошо бывает следить за собакой, когда идешь просекой, собака то и дело пересекает тропу.

Вот мой Ромка исчез в кустах и не вернулся. Я очень рад, его чувство свободы оказалось на первых порах сильнее привязанности к хозяину. Пусть будет так, я его понимаю: я охотник и тоже это люблю. Я только научу его пользоваться свободой согласно со мной, так и мне и ему будет лучше. Большими скачками, чтобы не оставлять за собой частых следов, по которым легко было бы ему меня разыскать, я перебегаю через кусты на другую полянку. Там на середине стоит большой куст можжевельника. Я разбежался, сделал огромный скачок в середине куста и затаился.

По мокрой земле не был слышен топот собачьих лап, но зато издали донесся до меня треск кустов и частое ха-ха-нье. Я понимаю хорошо это ха-ха-нье, он хватился меня, бросился со всех ног искать и сразу от сильного волнения задыхался. Однако он довольно верно рассчитал место моего нахождения: проносится по первой поляне, откуда я начал скакать.

Когда все снова затихло, я даю сигнал своим резким свистком. Очень похоже на игру в жмурки.

Мой свист достиг его слуха, вероятно, как раз в то время, когда он в недоумении стоял где-нибудь на полянке и прислушивался. Он верно определил исходную

точку звука, пустился во весь дух с паровозным хаханьем и стал в начале полянки с кустом можжевельника.

Я замер в кусту.

От быстрого бега и ужасного волнения у него висел язык на боку челюсти. В таком состоянии, конечно, он ничего чуять не мог, и расчет его был только на слух: уши переполовинил, одна половина стоит, другая, обламываясь, свисает и все-таки закрывает ушное отверстие. Пробует склонить голову на сторону — не слышно, на другую — тоже не слышно. И наконец понял в чем дело: он не слышит потому, что заглушает хозяйский звук своим дыханием, исходящим из открытого рта. Закрывает рот, второпях одну губу прихватил и так слушает с подобранной губой.

Чтобы не расхохотаться при виде такой смешной рожи с поджатой губой, я зажимаю себе рот рукой. Но ему не слышно. Природа без хозяина ему кажется теперь как пустыня, где бродят одни только волки, его предки. Они ему не простят за измену волчьему делу, за любовь к человеку, за его теплый угол, за его хлеб-соль. Они его разорвут на клочки и съедят. С волками жить, надо по-волчьи выть.

И он пробует. Он высоко поднимает голову вверх и воет.

Этого звука я у него никогда еще не слыхал. Он действительно почуял волчью пустыню без человека. Совершенно так же воют молодые волки в лесу, когда мать ушла за добычей и долго не возвращается...

Да оно так и бывает. Волчья матка схватила овцу и несет ее к детям. Но охотник проследил ее путь и притаился в засаде. Волчица убита. Человек приходит к волчатам, берет их к себе и кормит. Неизмеримы запасы нежности в природе, свои чувства к матери волчата переносят на человека, лижут ему руки, прыгают на грудь. Молодые не знают, что этот человек застрелил их настоящую мать. Но дикие волки все знают, они смертельные враги человеку и этой изменнице волчьему делу, собаке.

Ромка так жалобно воет, что у меня сжимается сердце. Но жалеть мне нельзя: я учитель.

Я не дышу.

Он повертывается задом ко мне и слушает в другой

стороне. Может быть где-нибудь в поднебесье свистнул пролетающий кулик?

Не туда ли забрался хозяин, и не он ли зовет к себе на небеса?

А вот это наверно в ближайшем болотце корова спугнула чибиса, и он, взлетая, высвистывал свое обыкновенное: «Чьи вы?» Это уж и не так высоко и не так далеко, очень возможно, это свистнул хозяин.

Ромка со всего маху ринулся на это «Чьи вы?», а я вслед ему резко в свисток:

— Вот я!

Он вернулся.

В какие-нибудь пятнадцать минут я измучил его и на всю жизнь напугал лесом пустым, без человека, поселил в нем ужас к жизни его предков, диких волков. И когда наконец-то я нарочно шевельнулся в кусту, и он услыхал это, и я закурил трубку, а он почуял запах табаку и узнал, то уши его опустились, голова стала гладкой, как арбуз. Я встал. Он лег виноватый. Я вышел из куста, погладил его, и он бросился в безумной радости с визгом скакать.

[*1928*]

НЕРЛЬ

I

Мы ждали это 14 марта, но 12-го вечером появились признаки, что событие совершится, может быть, в эту же ночь, и потому я побежал в аптеку за сулемой и карболкой, а жена пошла в сарай за соломой. Когда я вернулся, солома была уже в кухне, я опрыскал ее сулемой, уложил в углу, и весь этот угол отгородил бревном и, чтобы не откатывалось, прибил к стене гвоздями. Наша Кэт знала цель этих приготовлений по прошлому разу, дожидалась спокойно и, как только я кончил работу, шагнула через бревно и свернулась в углу на соломе.

Мы не ошиблись: в эту ночь Кэт родила нам шесть щенков: три сучки и три кобелька. Все три сучки были поменьше кобельков и вышли совершенно в мать, в немецкую легавую с большими кофейными пятнами на белом и по белому чистый крап. У одной на макушке, на белой лысинке, была одна копейка, у другой — две копейки, третья сучка была без копейки, просто с белой полоской на темени, и заметно была поменьше и послабее сестер. А кобельки вышли в отца, Тома; пятна были несколько потемнее, у двух почему-то на белом пока не было крапу, а третий был значительно крупнее других, весь в пятнах, крапе, таком частом, что казался весь темным, и вообще был тяжел и дубоват. *Дубец* — мелькнуло слово у меня в голове, я поймал его и вспомнил охоты

свои по выводкам на речке Дубец. Слово мелькнуло недаром, я очень удачно охотился на Дубце, и мне показалось — неплохо будет в память этих охот назвать новую собаку Дубцом. Да и пора вообще бросить трафаретные клички и давать свои собственные, местные, ведь каждый ручеек, каждый пригорок на земле получил свое название без помощи греческой мифологии.

Из этого помета я решил себе оставить кобелька и сучку. Название для сучки мне сейчас же пришло в голову, как только мелькнул Дубец. Я назову ее Нерлью, потому что на болотистых берегах этой речки прошлый год много нашел гнездовых дупелей.

Но я не знаю, мне кажется, было что-то больше охоты на этой странной и капризной реке. Она такая извилистая, что местами от излучины до излучины, через разделяющий их берег, можно было веслом достать. Я плыву на челноке по течению, правлю веслом, чтобы не уткнуться в болотистый берег, подгребаю, завертываю. Впереди виднеется церковь, и кажется очень недалеко, но вдруг река завертывает в противоположную сторону, церковь исчезает, и через долгое время, когда я снова завертываю, село оказывается от меня много дальше, чем было вначале. Слышно, где-то молодой пастух учится играть на берестяной трубе, звуки то сильнее, то тише, но слышны мне — все тот же пастух, та же мелодия, те же ошибки. К обеду я подплываю, но село оказывается не близко от берега, мне идти туда незачем. Я отдыхаю на берегу. Пастух перестал. А потом я удаляюсь вперед по реке, и пастух опять меня преследует до самого вечера. Только уже когда садилось солнце, мне была милость: река выпрямилась, увела меня от села далеко, и в крутых лесных берегах пение птиц перебило оставшееся в ушах воспоминание неверной мелодии. Вода очень быстрая несет меня, только держи крепче весло в руке. Я не пропускаю глазами проплывающую в воде щуку, голубую стрекозу на траве, букет желтых цветов, семью куликов на гнилом краю затонувшего челнока, сверкающий в лучах вечернего солнца широкий лист водяного растения, на трепетной струе поклоны провожающих меня тростинок. Какой бесплодный день на реке и какое очарование: никогда не забуду и не перестану любить.

Дикая Нерль, я воплощу твое имя в живую собачку, для которой великим счастьем на земле будет с любовью смотреть на человека, даже когда он запутается в излучинах своей жизни.

II

Со времени рождения моих щенков я устроился обедать в кухне: очень удобно во время еды с высоты стола наблюдать и раздумывать о судьбе этих маленьких животных. Там, внизу, кишит пестрый мир слепцов, и вечно глядят на меня поверх них глаза матери, стараясь проникнуть в меня и узнать судьбу, но я тоже не волен, я не знаю еще, в кого удастся мне воплотить имена Нерль и Дубец. Я же понимаю, что вес и форма не все для рабочей собаки, в собаке должно быть прежде всего то, что мы условились называть умом, а это сразу узнать в слепом потомстве красавицы Кэт невозможно. Моя рабочая собака прежде всего должна быть умная, ведь даже слабость чутья вполне возмещается пониманием моего руководства, и с такой собакой больше дичи убьешь, чем с чутьистой, но глупой.

Так я обедаю, ужинаю, чай пью и думаю о своем, и беседую с женой, и глаз не отвожу от гнезда. А если читаю газету, то слышу, как спящие видят сны: в жизни едва рот умеют открыть, а там во сне на кого-то уже по-настоящему лают собачками. Но я бросаю газету, когда они просыпаются и начинается у них интересная борьба за существование. Тогда каждый щенок пускает в ход свою силу, ум, проворство, хитрость в борьбе за обладание задними, самыми молочными сосцами. Как только этот спящий пестрый клубок маленьких собачек пробуждается, все они бросаются в атаку на сосцы. Лезут друг на друга, одни проваливаются и там залегают под тяжестью верхних, неудачники скатываются вниз, мелькая розовыми, как у поросят, животами, оправляются, снова взбираются. Можно бы, конечно, разделить слабых и сильных, кормить их отдельно. Но как узнать действительно слабых и сильных? Сегодня лучшее достается сильным мускулами, завтра сильный умом перехватил добычу у большого и сосет на первой позиции. Я сдерживаю в себе жалость к более слабым на вид и, пока не найду своей Нерли, не позволю себе вмешаться в дело природы.

Тот чумазый щенок, который помог мне выдумать кличку Дубец, в первые же дни настолько окреп, что теперь сразу всех расшвыривает, захватывает самую лучшую заднюю сиську, ложится бревном, не обращает никакого внимания, что на нем лежат другие в два яруса, и знай только почвякивает. А хуже всех маленькой сучке, у которой на темени белая лысинка без копейки, ей достаются только самые верхние сосцы-пуговки, и, верно, она никогда не наедается.

В собачьем понимании мы, конечно, настоящие боги: сидят боги за столом, как на Олимпе, едят, обсуждают судьбу своих собак. А мы каждый день спорим с женой. Женщина жалеет маленькую собачку, говорит мне, что она самая изящная, вся в мать, и нам непременно надо вмешаться в дело природы и не дать ей захиреть. Жалость помогает ей открывать новые и новые прелести в любимой собачке и соблазнять ими меня. Мне и с одной женой трудно бороться за свой план, но однажды на помощь ей к нашему Олимпу присоединяется новая богиня жалости. Это была одна наша знакомая, хрупкая телом, но сильная. Она вмиг поняла другую женщину, и обе стали просить у меня за слабое животное. Я очень уважаю эту Анну Васильевну, мне пришлось пустить в ход все мои силы.

— Не бросайтесь жалостью,— говорил я,— поберегите ее для людей, подумайте, что другие просто морят ненужных щенков, а я имею план выбрать себе друга, уважая законы природы. Мы часто губим добро неумной жалостью.

Анна Васильевна попробовала стать на мою разумную точку зрения:

— Да ведь она же больших денег стоит, вы погубите не только собачку в своем опыте, но и деньги.

Я не поверил искренности Анны Васильевны, когда она, бессребреница, заговорила о деньгах, и ответил решительно, чтобы нам больше не спорить и начать о другом:

— Не нужны мне деньги, и пусть собачка погибнет, берегите свое для людей; там, в этом мире...

Я указал вниз на борьбу за сосцы:

— Там не боятся погибели, там смерть принимают как жалость природы.

Мы сели обедать молча. Жена подала Анне Василь-

евне постное: грибы и кисель. Я очень люблю постное, мои говяжьи котлеты приобретают особенный вкус, когда вокруг постятся. Я ем говяжьи котлеты и стою за посты.

Я извинился перед Анной Васильевной за свои котлеты и, чтобы смягчить резкость своих слов перед этим, стал рассказывать о множестве исцеленных желудков во время постов.

Когда мы доедали последнее блюдо, маленькие животные там, внизу, насосались молока, стали позевывать, укладываться друг на друга, пока, наконец, не сложились в свою обыкновенную сонную пирамидку. Для тепла и покоя мы прикрываем их сверху моей старой охотничьей курткой, а мать наконец-то освобождается, отправляется в другой угол к миске с овсянкой, приправленной бульоном из костей. Кэт справляется со своим блюдом скорее, чем мы с одним своим третьим, возвращается к гнезду и укладывается возле щенков.

Но, конечно, спор, не доведенный до конца, течение мысли, остановленное насилием, в глубине нас продолжается, и благодаря этой неуемности мысли появляется вдруг как бы чудом вне нас повод для продолжения спора и заключения.

Мы говорили о полезном значении постов для здоровья, а в то же время все смотрели в гнездо. И вот под курткой начинается какое-то движение, тихое, осторожное, показывается голова с белой лысинкой и, наконец, вся она, та самая, слабая изящная сучка, из-за которой весь сыр-бор загорелся. Все остальные щенки спят крепко и взлаивают. Нет никакого сомнения, что маленькая сучка задумала нечто свое. Сначала, однако, мы думали, что это она, как все щенки, отходит немного в сторону от гнезда, чтобы освободиться от пищи. Но сучка, выбравшись из-под куртки, ковыляет по соломе прямо к матери, сосет из задней сиськи, наливается, засыпает у нее под лопаткой, сытая и в тепле, гораздо лучше, чем под моей охотничьей курткой. Нас всех, конечно, это поразило: ведь только что спорили о жалости, и все обошлось само собой, сучка сыта.

— Вот, дорогая Анна Васильевна,— сказал я, торжествуя победу,— вы же сами не раз мне говорили, что в тяжелой борьбе за кусок хлеба вы завоевали себе нежданное счастье, какое не снится сытым и обеспеченным,

что вы благословляете за это даже тех, кто хотел вам причинить зло. Как же должно благодарить меня это маленькое животное, что я не позволил вам его прикармливать и вызывал простую догадку в ее крошечной, только что прозревшей головке!

III

В другой раз, вечером того же самого дня, когда наши щенки пробудились и начали атаку, маленькая сучка с белой лысинкой в этой борьбе не участвовала. А утром я нашел ее не под курткой, а под лопаткой у матери. Мы очень обрадовались и, не решаясь только за одно это признать ее Нерлью, смеясь, пока стали называть ее Анной Васильевной, которую очень любили. Через несколько дней, когда наша новая маленькая Анна Васильевна очень поправилась, мы заметили, что она гораздо тверже других щенят начала наступать ножками, и появилась у нее новая особенность: она стала бродить по гнезду, совершая путешествие в уголки, все более и более далекие от матери. Все другие щенки знают только два положения: спать и бороться между собою за сосцы. Анна Васильевна догадалась исключить из своей жизни грубую борьбу за существование, силы ее с каждым днем прибывали, и мы вполне понимаем с женой и очень радуемся, что освобожденную энергию она использует для любознательности. И так спокойно было изо дня в день, погружаясь в природу собак, понимать свою жизнь, свои достижения; ведь тоже почему-то приходилось много бродить.

Пределом путешествий Анны Васильены было бревно высотой в четыре вершка. Для маленькой тут кончались все путешествия: она могла только поставить передние лапки на бревно и отсюда заглядывать на простор всего пола, как мы любуемся далью полей. Туда, в эту даль, уходила мать к своей миске, что-то делала там и возвращалась обратно. Анна Васильевна стала дожидаться матери на бревне, а когда она возвращается и ложится, обнимает лапками ее нос, полизывает губы, узнавая мало-помалу вкус бульонной овсянки. И вот однажды, когда Кэт перешагнула через бревно, Анна Васильевна с высоты барьера вгляделась в нее, лакающую бульон,

и стала сильно скулить. Мать бросила еду, вернулась, опрокинула дочь носом с барьера и, наверное, думая, что она не может освободиться от пищи, стала ей делать обыкновенный массаж живота языком. Дочь скоро успокоилась, мать вернулась к еде. Но как только Кэт удалилась, Анна Васильевна поднялась на барьер и принялась еще больше скулить. Мать оглядывается, не может понять, переводит глаза на меня и начинает тоже скулить.

В глазах ее: «Не понимаю ничего, помоги, добрый хозяин».

Я говорю ей:

— Пиль!

Это значит разное, смотря по тону, каким говорится; теперь это значило: «Не обращай внимания, принимайся за еду и не балуй собачку». Мать принимается лакать, а дочь, обиженная невниманием матери, делает вгорячах рискованное движение, переваливается через барьер и раскорякой бежит прямо к миске.

Нам было очень забавно смотреть на мать и дочь у одной миски: Кэт, вообще не очень крупная собака с превосходным розовым выменем, вдруг стала огромным животным, и рядом с ней точно такая, с теми же кофейными пятнами, с тем же крапом, с таким же на две трети обрезанным хвостом и во время еды с длинненькой шейкой, крошечная Анна Васильевна, стоит и тоже пробует делать, как мать. Но скоро оказывается ей мало, чтобы лизать край миски, она поднимается на задние ноги, передние свешиваются за край. Ей, наверно, думается, что это вроде барьера, что стоит приналечь, переброситься, и тогда откроется вся тайна миски. Она делает такое же рискованное движение, как только что было на бревне, и вдруг переваливается в миску с бульонной овсянкой.

Кэт уже довольно много отъела, и Анне Васильевне в миске было неглубоко. Скоро она вываливается оттуда без помощи матери, вся, конечно, покрытая желтоватой овсянкой. Потом она раскорякой бежит обратно, начинает скулить у бревна. В это время, случилось, пробудился Дубец и, услыхав какой-то визг за бревном, сам ковыляет туда. А маленькая Анна Васильевна в это время была уже сама на бревне и вдруг — здравствуйте: перевалилась прямо к Дубцу за барьер. Дубец понюхал ее, лизнул — очень понравилось.

Но что всего удивительней было нам, это когда на другой день из-под куртки вылезла Анна Васильевна, вслед за ней высунул здоровенную башку и Дубец, поплелся за ней к барьеру, перевалил через барьер, проковылял к миске, втяпался в нее передними лапами и залакал. После того оказалось, что первое путешествие Анны Васильевны в миску в мире маленьких собачек означало то же самое, что в нашей человеческой жизни открытие новой страны. За Колумбом, известно, все повалили в Америку, а у собак — в миску. Маленькая сучка с белой лысинкой научила Дубца, и потому что он такой громадный, и на нем есть что полизать, когда он выгваздывается в овсянке, то первыми прилипли к нему обе сучки с копейкой на лыснике и с двумя копейками. Обе эти сучки скоро поняли все и тоже стали путешествовать к миске. Но долго еще два больших белых без крапу и с розовыми рыльцами кобелька держались отдельно от веселого общества и ничего не знали об открытии Америки. Нам пришлось поднести дикарей к тарелке и насильно, ткнув их носы в молоко, держать там, пока не поймут и не хлебнут. И голос наш, призывавший «тю-тю-тю», первая поняла Нерль, и Дубец пустился бежать по примеру ее, потом вслед за Дубцом бежали и сестры ее, сучки с копейкой и двумя копейками на лысинках, и под конец согласились дружные дикари с розовыми рыльцами. А когда однажды во время нашего обеда собачья публика пробудилась и тоже захотела обедать и Нерль, почувствовав голод, бросила скулящих сестер и братьев, подбежала к Олимпу и стала теребить богов за штаны и за юбку, то нам не оставалось никакого сомнения, что маленькая изящная собачка с белой пролысинкой была именно наша задуманная Нерль.

1926

КОПЫТО

Ровно двенадцать лет тому назад, в 1926 году, я приехал в Сергиев (ныне Загорск) и несколько дней потерял там в напрасных поисках квартиры: никто не хотел пускать меня с пятью охотничьими собаками. Мне пришлось купить кое-какой домик с пустырем и тут устраиваться на долгое житье. Тарасовна, соседка моя справа, держала коз. Сосед слева был драч. К нему приводили старых и увечных лошадей, он их колол, сам пользовался мясом, шкуры отдавал хозяевам, а кости растаскивали чужие собаки. (Теперь это давно покончено, сосед служит сторожем на бойне.) Заборов между нашими участками никаких не было. Множество обглоданных собаками и обветренных костей белелось на моем участке. Козы Тарасовны паслись и у меня и у соседа-драча, где часто их обижали шальные собаки. Из-за этих коз и собак отношения соседей были невозможные. Немедленно я обставил весь свой участок хорошим забором на дубовых столбах, кости выбросил, пустырь распахал и отделил коз от собак. В то время у меня были такие охотничьи собаки: Ярик — ирландский сеттер; Кента — немецкая легавая, континенталь: дети Кенты — годовые щенки Нерль, Дубец и гончий Соловей. Все эти собаки, свободно разгуливая на обгороженном участке, время от времени выкапывали лошадиные кости, возились с ними, ворчали друг на друга. Заметив кость у собак, я немедленно отнимал ее и швырял через забор обратно к соседу. Мало-помалу таким образом были уничтожены все следы прошлого беспорядка, после чего мы купили

петуха, и все пошло хорошо: петух закричал, и дом наш начал жить.

В летнее время, между весенней и осенней охотой, я писал свои рассказы под единственной липой на огороде, возле забора, на простом столике с врытыми в землю ножками. Над столиком у меня висела трапеция; пописав, я кувыркался, подтягивался, поливал огурцы, тут же пил чай, опять писал, и так жизнь проходила, как мне желалось. Одно было неважно, что собаки мне очень мешали писать. Это понятно, что я был для них притягательным центром: они возле меня то играли, то ссорились и пыль поднимали ужасную. Надо бы их разогнать, но как-то все не мог собраться круто расправиться с друзьями, тем более что глядеть на игры их мне иногда бывало интересней, чем даже писать. Пылища при играх душила меня, при ссорах обиженные жались к моим коленкам. Я должен судить, наказывать виновных. Так по слабости запускал отношения с собаками, а потом злился, и это больше всего мешало моим занятиям.

Случилось однажды: Кента недалеко от липы выкопала из-под земли лошадиное копыто, давно обглоданное, без всяких признаков какой-нибудь съедобности, голое копыто из рогового вещества, с железной заржавевшей подковой, с «конскими», пробитыми через «венец» и снаружи загнутыми гвоздями. Увидев такую дрянь, я хотел было швырнуть ее соседу через забор, но меня остановило страшное выражение глаз умной Кенты. Она глядела на старое, выветренное копыто с тем суеверным страхом, с каким глядят дети и необразованные люди на непонятные вещи. Поведение Кенты обратило внимание всех собак, и все они медленно и с опаской стали к ней подходить. Увидев близко от себя собак, Кента оскалила зубы, порычала, собаки замерли на месте. Немного поколебалась Кента и, разинув пасть так сильно, что даже мне стало страшно, захватила копыто и с ним залезла ко мне под столик, легла в львиной позе, а копыто положила между передними лапами. Собаки медленно, как загипнотизированные, двинулись к столику, дошли до какой-то невидимой черты, распределились по ней полукругом и, созерцая копыто, легли в тех же позах, как и обладательница открытого сокровища. При малейшем движении кого-нибудь вперед за установленную черту

Кента злобно рычала, и нарушитель границы, поджав хвост, возвращался назад.

Вскоре я убедился, что организация спокойствия вокруг моего письменного стола — не случайное и не временное дело. Будь копыто хоть сколько-нибудь съедобным, напряженность собак была бы слишком велика и при первой оплошности Кенты началась бы грызня, да, наконец, сама Кента стала бы грызть копыто, и в конце концов оно было бы, как обыкновенная обглоданная и обветренная кость. Возможно, что для собачьего носа от вещества копыта, недоступного даже для собачьих зубов, исходил какой-то животный соблазнительный дух, и только благодаря такой «духовности» власть Кенты над другими собаками осуществлялась в полной тишине, спокойствии и неограниченной длительности.

У моих собак нет ни малейшего сомнения в существовании бога: бог — это я. И все сущее на земле, в том числе и копыто, произошло от меня. Бог дал, и бог взял. Так вот, окончив работу, я беру копыто и уношу с собой. На другой день вместе с бумагами и книгами я захватываю с собой из дому хранимое в особом плетеном ящичке копыто. Никого я из собак не обижаю и передаю власть им всем по очереди. Выбрав очередного верховного властителя, я укладываю его под столом возле моих ног, и все другие собаки, хорошо усвоив порядок, укладываются возле столика, полукругом, принимая те самые львиные позы, благодаря которым можно мгновенно вскочить и выхватить копыто у зазевавшейся Кенты. Так, уложив собак, я открываю сейф, вынимаю сокровище, очередной счастливец начинает властвовать, а я в тишине занимаюсь своими рассказами о повадках животных.

Прошло двенадцать лет. Все собаки мои описаны: Ярик, Кента, Нерль, Дубец, Соловей. Множество книжек о них для взрослых, для детей, разошлось по нашей стране, и некоторые начинают перебираться за границу. Мало того: встречаются охотники, называющие этими моими именами своих собственных собак. И сколько дружеских писем, сколько друзей! Все это, конечно, очень хорошо, и одно только плохо: всех описанных собак нет уже на свете; они создали мне дружбу с людьми и ушли навсегда. Кента умерла от сердечной болезни, и вскоре

за ней внезапно от той же наследственной болезни погибли Нерль и Дубец. Соловей умер, как умирают только самые лучшие гонцы-мастера: на всем ходу за лисицей старика хватил паралич. Рассказывать о конце Ярика мне пока тяжело. Так вот кончились мои собаки, и от знаменитого сейфа осталась только плетеная коробочка вятской работы. Копыто же не только пропало, но я о нем даже забыл. По всей вероятности, кто-нибудь из моих домашних, перебирая мой хлам, выбросил эту дрянь на помойку.

На днях сижу я под своей липой, за тем же самым столиком. Четырехмесячный щенок, пойнтер, блестящей, черной масти, Осман, возится со своей матерью Ладой и сибирской лайкой Бией, принимает участие в этой непрерывной возне иногда даже молодой гончий, чрезвычайно поратый англо-русский Трубач. Пыль висит в воздухе, нечем дышать. Вдруг игра обрывается, и Лада начинает копать, быстро работая передними лапами. Сын ее Осман ей смешно подражает. Остальные собаки стоят в недоумении. И вот с тем же странным выражением, как было у Кенты, Лада глядит вниз и грозным оскалом зубов и рычанием отгоняет собак. Осман один только не слушается, но за это здорово ему попадает; обиженный бросается к моим ногам и визжит.

Так вновь было откопано и появилось на свет знаменитое копыто с железной подковой. И опять, конечно, я заключаю его в сейф и каждый день назначаю очередных собак верховными властителями. В тишине организованного мирка я пишу о своих новых собаках, но, признаюсь, чего-то мне не хватает. Да, никогда не вернуть теперь мне любимую Кенту, и только теперь мне стала вполне понятна примета старых охотников, что настоящая собака у охотника бывает только одна. Вот кто-то постучал в калитку. Разве в свое время Кента, услыхав стук, могла броситься к воротам и оставить на произвол судьбы таинственное сокровище?! Она бы только рычала в ответ на стук у ворот. А Лада опрометью летит к воротам и увлекает всех собак за собой. Мне удалось задержать только маленького Османа, показать ему рукой на копыто, вообще дать понять, что пока нет никого, он легко может захватить власть. Мне было очень забавно представить себе, как этот маленький Осман с помощью копыта будет управлять большими собаками.

Осман понял меня и начал тихонечко подходить. Однако, вспомнив недавнюю трепку за это копыто, он остановился и пытался, не переступая ногами, как-нибудь безопасно дотянуться хоть носом: понюхать и, если не страшно, остаться, а если окажется плохо, бежать.

— Вперед! — приказываю.

Посунулся.

— Смелее!

Задрожал. Вытянулся, насколько возможно, и, по-видимому, достиг носом недоступной нам атмосферы копыта. Однако, втянув в себя воздух собственности, он вдруг весь опал, поджал под себя свой прутик, бросился назад и спрятался в высоком картофельнике.

Собаки вернулись. Лада хватилась. Но я кончил работу и спрятал сокровище в сейф. Вот когда только опомнился от страха Осман, высунул голову из зелени и забрехал.

[*1939*]

КАК ЗАЯЦ САПОГИ СЪЕЛ

Нынешний председатель колхоза в Меринове Иван Яковлевич — великий мастер подвывать волком. Суеверные люди думают даже, что, если нет в округе волков, на его вой приходят и отзываются. В этом охотничьем деле он был учеником известного по всей нашей области мага и волшебника охоты Филата Антоновича Кумачева.

Проезжая на днях возле Меринова, мы завернули к председателю чайку попить и кстати узнать, благополучно ли теперь поживает друг наш Филат Антонович. Так пришли мы в избу, поздоровались, сели за стол и, конечно, с охотником то, се про охотничью жизнь: что в начале войны охотничьи ружья почему-то отобрали, а теперь вернули,— не значит ли это, что война скоро кончится?

— Вам-то, Иван Яковлевич,— спросили мы,— вернули ваше ружье?

— Вернули,— сказал он с горечью,— только поглядите, в каком виде вернули.

Мы поглядели на свет стволы — ни одной раковины, и только в левом патроннике две, не имеющие никакого значения царапинки. Ясно было, что царапинки были предлогом, чтобы похвалиться перед нами уходом своим за любимым ружьем.

— Такое ружье,— сказал хозяин,— и такое обращенье.

— Царапинки не имеют никакого значения...

— Вам это царапинки, а мне раны,— ответил хозяин.

— Это ружье дорогое,— поддержала мужа жена его

Авдотья Ивановна,— это ружье стоит, пожалуй, рублей тысячу двести.

— Что-о? — огрызнулся хозяин.

Жена поняла по строгому голосу, что ошиблась, и стала заботливо вытаскивать муху из меда.

А Иван Яковлевич покачал головой с ехидной улыбкой и сказал своей почтенной и любимой жене, что не бабьему уму судить о таких вещах, как охотничье ружье, и что есть вещи на свете драгоценные, и есть, которым и быть не может никакой цены.

— Это ружье,— сказал он значительно,— вещь неоценимая, мне подарил его сам Филат Антонович Кумачев.

И тут мы с большой радостью узнали, что не только жив и здоров наш старый друг и охотник, но еще и ведет за собой самый отчаянный партизанский отряд из своих молодых друзей-охотников.

— В такие-то годы! — подивились мы.

— А что ему годы,— ответил Иван Яковлевич,— на то и есть мужественный человек и герой, чтобы годы свои красить. Не берут его годы.

Председатель наклонился в сторону подпечья и сказал туда, в подпечь, тихо и ласково:

— Руська, Руська!

И как только вымолвил председатель это слово, из-под печи вышел здоровенный матерый заяц-русак.

— Вот, товарищи,— сказал Иван Яковлевич,— этот заяц не простой русак. Прошлый год я поймал его — был меньше кошки. Держал в кадушке, на капусте вырастил, а когда осенью хотел к празднику зарезать, что-то в этом зайце мне показалось: пожалел. И вот через этого зайца владею теперь ружьем.

— Значит,— сказали мы,— не ружье принесло зайца охотнику, а заяц — ружье.

— Кроме шуток,— ответил Иван Яковлевич,— истинно так, через этого зайца именно я свое ружье получил.

И рассказал нам историю, как заяц Руська у начальника партизанского отряда Кумачева съел сапоги.

Было это на переломе войны, когда немцы подходили к Москве, и их артиллерийские снаряды стали так недалеко ложиться от Меринова, что один попал даже в пруд. В это время отряд Кумачева затаился в лесном овраге,

а сам начальник, Филат Антонович, пришел ночевать к своему ученику — председателю Ивану Яковлевичу.

— Какой же он стал теперь, Кумачев, в партизанском-то виде? — спросили мы с интересом.

— А точно такой, как был,— ответил Иван Яковлевич.— Рост — колокольня, плечи — косая сажень, ну, глаз, вы знаете, у него один, другой выбило пистоном, одноглазый великан, зато какие сапоги — американские, рыжие, на крючках. И вооружение полное, и притом еще дробовик. «Зачем, спрашиваю, еще и дробовик-то носите?» — «А для потехи»,— говорит. Вот какой молодец! И годов шестьдесят с хвостиком.

Мы подивились. Хозяин опять нам повторил, что мужественный человек свои годы красит, и продолжал свой рассказ о том, как заяц сапоги съел.

Случилось это ночью, все уснули в избе, а Руська вышел из-под печи и принялся работать над сапогами начальника. Что он там нашел себе, этот заяц Руська, в том месте, где американцы своим способом соединяют голенища с головкой? За целую ночь заяц только и сделал, что начисто отделил голенища от головок. Русский заяц будто захотел понять, как надо шить сапоги на американский манер. Ну, конечно, и на головках и на голенищах тоже выгрыз пятнышки и вокруг сапогов за ночь наложил много орешков. Поутру первая встала Авдотья Ивановна. Как глянула, так и обмерла: на глазах ее заяц кончал сапоги. И какие сапоги!

— Иван Яковлевич,— разбудила она мужа,— погляди, заяц что сделал.

— Что такое заяц? — спросил спросонья муж.

— Сапоги съел,— ответила жена.

Открыл глаза спящий — и не верит глазам. А русак шмыг — и под печь. Ужаснулись супруги. Шепчутся меж собой, ахают, тужат.

— Чего вы там шепчетесь? — спросил начальник, не открывая глаз.— Я не сплю.

— Батюшка, Филат Антоныч, прости нас, беда у нас в доме, такая беда — сказать страшно.

— Что? Немцы? — вскочил начальник партизан и схватился за наган.

— Какие там немцы — заяц, заяц, родной. Погляди сам.

Поглядел начальник своим единственным глазом:

головки и голенища лежат отдельно и вокруг пол усыпан заячьими орешками.

— Так это заяц мои сапоги съел?

— Так точно, батюшка, никто другой — заяц съел сапоги.

— Вредная тварь,— сказал начальник.

И надел сначала голенища, потом головки, концы же голенищ вмял под края головок. После этого оделся, умылся и зарядил дробозик.

— Ну, вызывай своего зайца на расправу, а то он и твои сапоги съест.

— Руська, Руська,— позвал хозяин.

И как невиноватый, заяц выходит, перебирает губами; глядит кругло, ждет узнать, для чего его вызвали.

Партизан в него целится. И чуть бы еще... партизан опустил ружье.

— Ты сам убей его,— сказал он,— мне что-то противно в ручного зайца стрелять.

После того поклонился хозяйке, поблагодарил, простился и вышел. А ружье так и оставил на столе заряженное, с взведенными курками.

— Значит,— сообразил Иван Яковлевич,— надо сейчас зайца убить, а ружье вынести хозяину.

Ничего не стоило зайца убить: сидит на месте, ждет и что-то жует.

Хозяин прицелился.

Вдруг Авдотья Ивановна — бац в зайца с печки валенком. Руська — под печь, а хозяин весь заряд в печь влепил.

— Ты баба неглупая,— сказал он.

И с ружьем догонять Филата Антоновича.

— Убил? — спросил тот.

— Слышали? — ответил хозяин.

— Вредная тварь в доме,— сказал Филат Антонович,— а жалко чего-то: никогда не было со мной такого на охоте, то ли, может, время такое: сегодня ты зайца, а завтра самого тебя, как зайца. Ну, ладно, убил и убил, больше он у тебя в доме не будет вредить. А ружье сам на память возьми от меня: может быть, и не увидимся, помнить будешь меня, а мне теперь уже не до охоты. Прощай.

И ушел.

В тот же день немцы пошли в атаку, и полетели у

нас из окон стекла со всеми своими наклеенными бумажками крестиками и в елочку. Все бегут из деревни в лес, кто с чем.

— А мы с женой,— рассказывает Иван Яковлевич,— дружно взялись за лопаты: ямы у нас были уже заготовлены, картошку, зерно — все закопали. Утварь хозяйственную тоже зарыли. Кое-что взяли с собой необходимое для жизни в лесу. Со скотиной чудеса вышли: у нас вся скотина — коза да корова. Ну, конечно, скотина по-своему тоже понимает: война. Прижались в углах, трепещут и не хотят выходить. Зовем — не слушают. Пробовали тащить — сопротивляются. А уже не только снаряды рвутся — начинают и пчелки свистеть. Пришлось бросить скотину: самим бы спастись. И только мы со двора — им без людей страшно,— они к нам и выходят из ворот: коза вперед, а за ней и корова. Да так и пошли в порядке: коза впереди, корова позади, а посерединке заяц любимый.

Так пришли мы в партизанский овраг и заняли пустые землянки. Вскоре снаряды и бомбы со всех сторон весь лес нам изломали, мы же сидим ни живы ни мертвы в своих землянках. Недели две прошло, и мы уже и смысл потеряли и не знаем даже, немцы ли у нас в Меринове, или все еще наши держатся.

Однажды утром на рассвете глядим, а краем оврага идет наш весь партизанский отряд и впереди Филат Антоныч, весь ободранный, черный лицом, босиком, в одних американских голенищах, и на месте стеклянного глаза дыра.

— Живо смывайтесь,— кричит нам,— немцы далеко, деревня цела, идите, очищайте нам землянки!

Мы, конечно, радешеньки, живо собрались, идем в прежнем порядке: коза впереди, корова позади, у меня за плечами дареный дробовик, у Авдотьи Ивановны заяц.

— Стой, любезный,— дивится Филат Антоныч,— да никак это ты, Руська?

И только назвал «Руська», заяц повернул к нему голову и заработал губами.

— Я же велел тебе застрелить его,— сказал Кумачев,— и ты мне соврал, что убил?

— Не соврал, Филат Антоныч, нет,— ответил я,— ты меня спросил тогда: «Убил?» А я ответил вежливо: «Вы слышали?» И ты мне: «Да, слышал».

— Ах ты плут,— засмеялся Филат Антоныч.

— Нет,— отвечаю,— я не плут, а это вот она, супруга моя, по женскому чувству к домашней скотине валенком в Руську — он шмыг под печь, а я весь заряд ввалил в печь.

Посмеялись, тем все и кончилось.

После этого рассказа председателя Авдотья Ивановна повеселела и говорит:

— Вот ты бранил меня за ружье, что не могла я, баба, понять неоценимую вещь. А Руська? Не кинь я валенком, ты бы, по мужицкому усердию своему, убил бы его. Бабьим умом, а все-таки лучше тебя, мужика, сделала. Ружье неоценимое. Нет, батюшка, ружье — вещь деловая и наживная, а заяц был — и нет. И другого такого Руськи не будет. И никогда на свете такого зайца не было, чтобы охотнику ружье приносил.

1942

ДРУЖБА

— Есть степная поговорка в Казахстане о дружбе: «Если товарищ твой кривой, старайся ему быть под пару». Как вам это нравится? — спросил я своих двух товарищей по охоте.

Полковник Замойский кивнул мне сочувственно головой, но лейтенант Бородин, самый молодой из нас, как это иногда бывает, оказался больше скептиком, чем мы, сильнее потрепанные жизнью.

— Как это ни хорошо звучит,— ответил он,— но пеший конному не товарищ.

И рассказал нам один случай охоты на лыжах.

— Было это,— сказал он,— в Загорске, тоже вот в такую же снежную зиму и под самый конец зимнего охотничьего сезона. В то время, впрочем не очень давно, в Загорске еще только начиналось строительство заводов, и на том конце города, где строился завод, одновременно складывалась и новая жизнь, а на этом конце, в лесу, где жила моя матушка, днем всюду козы паслись и ночью стучала колотушка. Я приехал тогда в отпуск к своей матушке и захватил еще несколько последних охотничьих дней. Приехал я поздно вечером, искать кого-нибудь из знакомых для охоты было уже некогда, в одиночку охотиться как-то не очень люблю. Но делать было нечего, пропускать драгоценный денек не хотел и вышел на дворик свой покормить Трубача.

Редкая погода была для февраля: легкий морозец, полная тишина, чистое небо с мерцанием всех звезд, и в полной тишине совсем недалеко от нашего домика ноч-

ной сторож шел с колотушкой и так мерно постукивал, что казалось, в этом же ритме и звезды на небе дышали. Вдали, на том же конце города, свистели паровозы, гудели электровозы, какой-то шелудивый моторчик шепелявил на третьем такте, и тут вот эти звезды и доисторическая колотушка.

«А что это такое?» — спросил я себя и с удивлением вспомнил, что в жизни своей я никогда не видал колотушку.

«Скоро колотушки вовсе исчезнут,— подумал я,— и потом я уже их никогда больше не увижу: история никогда уже больше не вернется к колотушкам. Надо посмотреть».

Я вышел за калитку, а сторож как раз тут и проходил, возле самого дома. Я подошел к нему, взял у него из рук колотушку, постучал, посмеялся. Сторож тоже смеялся, а когда я заговорил, он тоже одновременно со мной заговорил, и тут оказалось, что я имею дело с глухим человеком.

«И немудрено оглохнуть,— подумалось мне,— если всю ночь напролет каждые сутки проводить с такой колотушкой».

Руками, глазами, ногами даже я старался показать сторожу мой особенный интерес к колотушке, с тем чтобы понять, почему сторож, которому надо было ловить воров и затаиваться для этого, сам открывает ворам место своего пребывания.

И вот вы говорите, что если товарищ кривой, то должно себе глаз поджимать: я ли не старался с этим глухим говорить, как глухой, а он понял, что я не о колотушке выспрашиваю, а приглашаю его завтра идти с собой на охоту. Узнав, однако, что он охотник, я с большой радостью позвал его наутро с собой на охоту и только просил его сказать мне, каким образом он, глухой, будет мне давать знак о себе: без этого нам двум из-под одной гончей будет трудно охотиться. Он понял меня и спросил:

— А колотушка на что?

Это мне было понятно: колотушка на охоте, как охотничий рог, но для чего колотушка нужна сторожу,— это так и осталось мне тайной.

Сторож поклонился мне дружески, пошел вперед и застучал.

Рано утром, при первом свете, он явился ко мне с ружьем. Километра два мы прошли, и Трубач поднял беляка и погнал. Мы, как полагается нескольким охотникам с одной гончей, разбежались в стороны, каждый со своим собственным планом в голове.

Против всякого ожидания гон оказался и при глубоком снеге неплохим. Не так давно была осадка снега, и после того на этот наст снегу навалило не больше, как на собачью ногу.

К великому нашему счастью оказалось, что Трубач сквозь тот засыпанный наст не проваливается и летит, как по первой пороше. К сожалению, белячишко попался умнейший, один из тех, кого охотники зовут «профессорами» или «химиками». Воскресные охотники до того настегают таких зайцев, что с подъема они по прямой линии мчат версты две и потом, когда вернутся, начинают так кружить, что никогда на свой след не приходят, подстоять их почти невозможно, и убивают их только случайно.

Наш заяц с подъему бросился вперед по прямой, а потом нашел себе болото с таким частым ельником, что Трубач мог только еле-еле продираться, но никак не бежать. Кроме того, в этом болоте, как это бывает, вода обмерзла и после куда-то сбежала, получился лед-тощак, белый с узорами, проваливается под ногой, как стекло, с треском. Не было никакой возможности войти в это болото и ловить на кругах зайца-профессора. Приходилось только идти кругом в надежде, что когда-нибудь Трубач вытурит из болота мучителя. Самое лучшее было бы отозвать собаку и найти другой след. Но Трубач, как все замечательные гонцы-мастера, был непозывист, и, пока зайца не убьешь, до тех пор с собакой не встретишься и не подзовешь к себе даже стрельбой.

Случилось, наконец, заяц вздумал бежать краешком болота, и я увидел его и взял на мушку, и вот только бы спустить курок, откуда ни возьмись Трубач и чуть его не схватил. Заяц с испугу шарахнулся вон из болота, и Трубач с безумным ревом пустился по зрячему.

Теперь начался гон возле глубокого оврага, и так, что заяц ходит по одной стороне, а перелезешь овраг туда, он станет ходить по этой. Особенно плохо было тем, что к вечеру быстро стало морозить, и когда, перелезая

овраг, разогреешься, вспотеешь, то потом мороз быстро схватывает и зубы начинают дробь выбивать. Будь бы товарищ мой не глухой, я потрубил бы ему, мы бы сговорились и ждали зайца на той и другой стороне. А вы говорите, что зрячий человек из-за дружбы должен поджимать себе глаз. Я считаю, что это в корне неверно: не поджимать себе глаз или затыкать себе уши хотел я на этой охоте с глухим товарищем, а просто, как лютый зверь, разорвал бы его в то время в клочки. Между тем охота — это такое занятие, что чем больше крепнет мороз, тем сильнее растет в тебе упорство...

В последний раз я решил перелезть овраг и, приступив к этому труднейшему делу, заметил свежий заячий след. Это не был след нашего гонного зайца, это был новый след, и мало того: лапка этого зайца в одном месте пришлась на мою лыжницу. Это значило, что день уже кончался, и спавшие днем зайцы начали вставать. Этот свежий заячий след как будто выговаривал:

— Спи, спи, человек, ходи, ходи, заяц.

Мне всегда становится жутко, когда зимой в лесу вечереет и зайцы встают. В это время природа как будто говорит:

— Уходи, уходи, человек, гуляй, гуляй, заяц.

Торопясь перебраться через овраг, я нажал на правую лыжу, и вдруг моя лыжа треснула пополам, и правая нога глубоко вместе с поломанной лыжей уткнулась в снег. Я освободил ногу сначала из поломанной лыжи, потом из целой в надежде, что, может быть, подснежный наст, державший так хорошо Трубача, при моей осторожности выдержит меня. Но расчет мой был неверен: подснежный наст легко хрустнул, и я по грудь очутился в снегу. На этом снегу потерять лыжу значило то же самое, что в открытой воде остаться с худым челноком: там зальет вода, здесь закостенит мороз. По такому снегу без лыж полверсты не пройдешь: и выбьешься из сил и замерзнешь.

В лесу вечереет, а морозное небо разгорается, по минутам нарастает мороз, и деревья начинают трещать и шептать:

— Спи, спи, человек, ходи, ходи, заяц.

Теперь оставалась только одна надежда, что глухой застучит в колотушку и, не дождавшись меня, станет искать: не бросит же он в лесу товарища.

Я осмотрел поломанную лыжу. Причиной поломки оказался один только гвоздик, несколько лет тому назад второпях забитый мною, чтобы прикрепить ремешок. Этот гвоздик от сырости давал постоянно ржавчину, и мало-помалу эта желтая, разъедающая дерево жидкость распространялась и ослабляла сопротивление дерева. Пришло время, и на этом месте доска просто треснула насквозь и теперь держалась на тонкой древесной планке... Я попробовал выправить лыжу и стать на свежем снегу, она опять согнулась. Но когда я поставил лыжу на старый след, лыжа держалась. В этом мало было утешения...

Стало быстро смеркаться, и вдруг недалеко от меня, в каких-нибудь ста шагах, раздался резкий стук колотушки. Обрадованный, я закричал во все горло, забывая, что имею дело с глухим человеком. Мой крик оказал обратное действие на поведение товарища: колотушка стала быстро удаляться. В отчаянии я принялся стрелять, и с каждым выстрелом колотушка слышалась все дальше и дальше: это был совершенно глухой человек. Тогда я сообразил, что ведь это охотится со мной ночной сторож, что при наступлении сумерек ему надо спешить на место своей работы, что на сломанной лыже мне догнать его невозможно.

А деревья всерьез начали стрелять, как бывает это только в самый сильный мороз. Мне оставался один только выход — идти своим следом обратно, лазить из оврага в овраг, потом прийти к болоту, ходить вокруг болота и вообще сделать столько же движений, сколько я сделал за весь день. Возможно ли это?

Будь у меня спички, я бы не горевал, я развел бы костер и переночевал бы у костра, но только недавно я бросил курить и спички с собой не захватил...

Мало-помалу наступила такая тьма, что исчезли из глаз в лесу даже следочки зверей. Тьма шептала невидимым зверькам:

— Ходи, ходи, заяц!

Мороз, сам хозяин Мороз, начинал мне шептать:

— Спи, спи, человек!

Лыжа по старому следу сама вела меня, я двигался вперед и вдруг уперся возле оврага. Рискнуть скатиться в овраг в темноте было невозможно, лыжа могла зацепиться за куст и совершенно сломаться; если же лезть

на ту сторону, и потом лезть опять обратно, и опять, и опять...

Я погибал в пяти километрах от города, мне были слышны свистки паровоза, гудки электровоза, и так хорошо знакомый четырехтактный моторчик с пришептыванием на третьем такте отчетливо вел свою обычную беседу с тишиной, как будто я не погибал, а вышел на свой дворик покормить Трубача.

— Спи, спи, человек!

И вдруг страх гибели проник в мою душу, в мое тело до косточки, и сразу же явился план спасения. Я должен идти без лыж, лезть по снегу, как медведь, до того места, откуда мне слышалась колотушка. Осилю — так, не осилю — погибну. Значит, надо осилить: весь я должен собраться в одно: это *надо*.

Мне удалось сделать все, как я замыслил. Лыжи глухого были значительно шире моих, и мои по этому широкому прямому следу пошли, как непоeffполоманные, так вот и пошли и пошли...

И что-то очень скоро вырос передо мной телеграфный столб, и на дорогу я вышел с такою же радостью, как моряк, потерпевший кораблекрушение, приплывает к берегу.

Этой морозной ночью все звезды собрались над Загорском, и шепелявил моторчик, и колотушка стучала как ни в чем не бывало.

Так Бородин закончил свой рассказ и после того обратился ко мне с нравоучением:

— Нет, не согласен я с вами: если и товарищ кривой, не советую поджимать себе глаз, а с глухим затыкать себе ухо.

— Позволь, мой друг,— сказал полковник Замойский,— ты что же это на глухого обиделся и на кривого, когда сам кругом виноват?

— Я ни в чем не виноват. Что я мог сделать в лесу, когда лыжа сломалась и глухой товарищ бросает тебя?

— А при чем тут глухой? — спросил Замойский.— Ты же сам рассказал, что несколько лет тому назад вбил в лыжу гвоздик, и он несколько лет распускал в дереве ржавчину, а ты не обращал на это никакого внимания. Тут все дело не в глухом товарище, а в собственном гвоздике: у тебя не хватило в голове какого-то гвоздика.

И когда мы весело посмеялись над молоденьким лейтенантом, Замойский сказал:

— Нет, я все-таки согласен с казахами: если твой товарищ кривой, старайся поджимать глаз, чтобы стать ему под пару. Кто же понимает вообще пословицы, загадки в буквальном смысле слова! Пословица казахов говорит только о дружбе: что дружба через друга дает глухому уши, слепому — глаза. Вот в чем дело! Я знаю один удивительный случай, когда дружба помогла слепому достигать больше, чем если бы он был зрячим, и глухому действовать, как если бы он обладал тончайшим слухом.

И рассказал нам об одном глухом поваре в Вологде и слепом музыканте. Оба любили до смерти глухариную охоту, требующую особенно тонкого слуха и зрения. Слепой музыкант, как это постоянно бывает со слепыми, обладал чрезвычайно тонким слухом, а глухой повар — замечательным зрением. Никто не мог из охотников услыхать на току глухаря так далеко, как слепой музыкант, и никто не мог его так скоро оглядеть в полумраке, как глухой повар. И так оба неразлучных друга, глухой и слепой, приносили каждую весну глухарей много больше, чем все обыкновенные охотники.

1941

СТАРШИЙ СУДЬЯ

Люблю я собак! Первое — люблю, конечно, охотиться и держу их для охоты, а еще — и это, может быть, даже больше охоты — люблю поговорить с ними, посмеяться, поиграть и, как говорят, «отвести душу»... Но выставлять своих собак я не люблю. Почему? Вот об этом я и расскажу...

Однажды назначили выставку собак, и мне позвонили из охотничьего общества, что выставлять необходимо.

Ну, если так, делать нечего! Привожу свою Нору.

Небольшая собачка эта Нора, величиной с зайца, на коротких ногах, и хвостик обрублен, а уши длинней сеттеровых, и если голову держит пониже, уши метут пыль на земле. Во время кормления надеваем колечко из старого чулка, и оно подхватывает уши и не дает им валиться в миску. Псовина у Норы сеттеровая, густая, волнистая, черная с белым, ножки в белых чулочках. На охоте у нас она годится только для уток, вытуривает их из тростников, приносит убитых, вылавливает подранков.

Смешна и мила эта собачка своей важностью: идет — от земли не видно, а сеттер — настоящий сеттер! Из человеческих свойств — у нее замечательная память на адреса, и, говорят, в Лондоне эта собачка, спаниэль, водит за собой слепых на веревочке. Привожу я свою Нору на выставку. За столиком сидит, регистрирует известнейший у нас главный судья охотничьих собак.

— А. А.,— говорю,— не хочется мне свою Нору показывать, если можно, зарегистрируйте и отпустите.

— Это почему? — отвечает.— Чумы боитесь? Не бойтесь! У нас на выставке все предусмотрено.

— Не чумы боюсь, а стыдно сказать: чужого глазу боюсь, сглазят.

Он откинулся назад, поглядел на меня, как глядят русские люди, когда догадываются, что собеседник задумал немного подурачиться, и принялся хохотать, приговаривая:

— Ох, уж эти мне охотничьи писатели!

Отсмеявшись, он положил мне руку на плечо и ладонью по шее потрепал, как лошадей треплют: любовно, с улыбкой дружбы. И, указав на мою спаниэльку, сказал:

— Золотая медаль! Я вам ручаюсь: такой другой сучки нет в городе, ей обеспечена золотая медаль. Я это вам как старший судья говорю.

Вот подумайте теперь, как тут совсем отказаться от суеверия? В этих собачьих золотых медалях нет ни малейшей частицы золота, это просто бумажка, на которой только слова. Но довольно было произнести слово «золото», чтобы какой-то яд вошел в меня. Яд вошел в меня в один миг и начал соблазнять меня. Мне вдруг ужасно захотелось получить золотую медаль. Но я знал один тайный порок Норы и сказал:

— Не получит Нора золотую медаль: у нее бульдожинка.

А. А. наклонился к Норе, оглядел ее осторожно, умело развел ей губы и потемнел в лице: зубы нижней челюсти у Норы выступали вперед, а верхние зубы заходили за них.

— Бульдожинка явственная,— сказал он.

— Так отпустите же меня, как я вас просил. Зачем мы будем выставлять собаку с бульдожинкой?

Он побыл немного в задумчивости, с темным лицом. Вдруг молния прорезала тьму, и чистое здоровое лицо его, как природа, обновилось после грозы.

— Отчего же не выставлять? — спросил он.— Не я буду сегодня спаниэлей судить, а судьи наши, может быть, и проглядят.

С великим изумлением и смущением я поглядел на него...

Лет тридцать уже я знаю этого человека. Он живет за городом. У него жена — одна на всю жизнь, всегда с ним, несколько замечательных собак, есть гитара и краски.

Пишет он исключительно собак и охотничьи сцены. Сбывает картинки в охотничьи магазины. Какая корысть такому совершенно независимому судье кривить душой на собачьих судах? Мало того! Сам я, когда пишу свой охотничий рассказ, виляя между правдой и выдумкой, как в море между волнами, гляжу всегда на А. А. как на маяк. И вот теперь этот-то мой маяк явно ведет меня на скалу.

Он же, видя мою растерянность, подмигнул и сказал:

— И очень просто, что бульдожинку они проглядят. Собака такая очаровательная, такого превосходного экстерьера: про мелочь такую и не вспомнят. Обрадуются — и проглядят. Получите медаль! Ведите!

И я повел.

Это была длинная широкая аллея среди собак разных пород. Была там низенькая каракатица-такса, длинная, на кривых ножках, была огромная борзая с белой расчесанной шелковой псовиной, с бархатным голубым, шитым золотом ошейником, был дрожащий, как часовая пружинка, голенький черный пойнтер, был здоровый и рыжий ирландец, и волшебная балеринка, самка лаверака, и пуделя были, остриженные подо львов и под дам со шлейфами.

Возле страшных сторожевых собак собрался народ. Разговоры и споры тут были всякие.

— Для чего у них глаза скрываются в кустах, глаз вовсе не видно, как вы думаете, для чего?

Интересный вопрос привлекает многих: никто ничего не знает по книгам, каждый старается догадаться по себе и нисколько не гнушается сравнивать свою человеческую душу с собачьей.

— По-моему,— сказал один из любителей,— кусты на глазах, как и всякие кусты: прохожий думает — куст, а там, в кусту, глаз наблюдает за ним. Сторожевая собака!

Так везде идут разговоры, и всё не по книгам, всё по себе...

Мы пришли с моей Норой к рингу. Тут были уже все спаниэли со своими хозяевами в ожидании судей. Посмотрев на моих конкурентов, я почувствовал в себе ласковое сердце: ни одной мало-мальски даже подходящей для сравнения с Норой собаки не было. И что тут говорить, каждый из нас спортсмен в чем-нибудь: каждый

ищет хоть в чем-нибудь установить свое первенство. Как я тут это чувствовал и повторял про себя слова старшего судьи: «Золотая медаль обеспечена!»

Пришли судьи: два великана и один маленький,— все незнакомые. Нас пригласили на ринг; мы попросили собак к левой ноге и пошли друг за другом по рингу кругом. Все судьи, как глянули на мою Нору, так и не отводят от нее глаз...

Радуйтесь, охотники, радуйтесь, дорогие собачники, радуйтесь, все чудесные люди, сумевшие сберечь в себе до старости наше золотое детство. Был я угрюмый себялюбец, сберегавший свою красавицу от чужого глаза и презиравший выставки! Пожалуйте, глядите, вот он перед вами с седеющей бородой, ходит по кругу, водит маленькую собачку и никак не может скрыть от людей своего счастья в борьбе за первенство.

Судьи глядят только на одну Нору, забегут вперед и глядят, отстанут — и глядят сзади; один, великан, стал на колени, другой, маленький, даже и лег.

Но самое главное в этом счастье было, что я и забыл про бульдожинку: как будто ее вовсе не было или как будто само собой выходило в движении славы, что раз уже свет заметил красавицу, то тут же и простил ей эту бульдожинку.

Судьи вдруг перестали смотреть на мою Нору и делать отметки в своих судейских журналах.

Они собрались все кучкой, и маленький судья махнул рукой в том смысле, что я могу уходить. Мне оставалось сделать несколько шагов до массы людей, гуляющих по широкой аллее. Две-три секунды — и толпа бы меня поглотила, и я исчез бы от суда в толпе, как рыба в воде. Но мне сказали: «Вас зовут!» Я оглянулся и увидел: все судьи руками звали меня обратно к себе.

Нет! Нет! Положа руку на сердце, я и сейчас благословляю этот великолепный путь к славе и верю, что чистого человека он может подвести к самым звездам. В своем падении я сам виноват, что поддался соблазну...

Судьи мне сказали:

— Надо посмотреть пасть.

И только посмотрели...

Так вот вынимают билет и проваливаются на экзаменах; век проживи — и все будет сниться, как вынул этот проклятый билет. Но в конце-то концов ведь сам же

виноват, что не выучил... Всю свою досаду, конечно, я перенес на А. А.: зачем он вовлек меня в это дело, зачем?

С трудом я нашел его на выставке. И он, сияющий здоровьем, готовый обнять меня и поздравить, спросил:

— Ну как, проглядели?

— Совсем было проглядели,— сказал я,— но под конец...

— Заметили? — радостно загораясь, воскликнул он.— Неужели заметили?

— Вы меня подвели...

— Ну, милый,— похлопал он меня по затылку ладонью,— о каких пустяках вы говорите, а судьи-то у нас какие! Что из того, что мы не получим медали,— судьи-то, судьи какие, а?..

И тут вот только и понял я, зачем это мне тогда подмигнул старший наш судья собак: это старший судья так сговаривался со мною на испытание маленьких судей; и когда оказалось, судьи хорошие, то действительно стоило ли печалиться, что я потерял золотую медаль?

1947

ГОВОРЯЩИЙ ГРАЧ

Расскажу случай, который был со мной в голодном году. Повадился ко мне на подоконник летать желторотый молодой грачонок. Видно, сирота был. А у меня в то время хранился целый мешок гречневой крупы. Я и питался все время гречневой кашей. Вот, бывало, прилетит грачонок, я посыплю ему крупы и спрашиваю:

— Кашки хочешь, дурашка?

Поклюет и улетит. И так каждый день, весь месяц. Хочу я добиться, чтобы на вопрос мой:

— «Кашки хочешь, дурашка?»

Он сказал бы:

— «Хочу».

А он только желтый нос откроет и красный язык показывает.

— Ну, ладно,— рассердился я и забросил ученье.

К осени случилась со мной беда. Полез я за крупой в сундук, а там нет ничего. Вот как воры обчистили, половинка огурца была на тарелке, и ту унесли. Лег я спать голодный. Всю ночь вертелся. Утром в зеркало посмотрел, лицо все зеленое стало.

— Стук, стук! — кто-то в окошко.

На подоконнике грач долбит в стекло.

«Вот и мясо!» — явилась у меня мысль.

Открываю окно, и хвать его. А он прыг от меня на дерево. Я в окно за ним к сучку. Он повыше. Я лезу. Он выше и на самую макушку. Я туда не могу, очень качается. Он же, шельмец, смотрит на меня сверху и говорит:

— Хо-чешь каш-ки, ду-раш-ка?

[*1924*]

ЕЖ

Раз я шел по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа; он тоже заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога; он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог.

— А, ты так со мной! — сказал я. И кончиком сапога спихнул его в ручей. Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понес домой.

Мышей у меня было много, я слышал — ежик их ловит, и решил: пусть он живет у меня и ловит мышей.

Так, положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ежик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда и выбрал себе, наконец, место под кроватью и там совершенно затих.

Когда стемнело, я зажег лампу и — здравствуйте! Ежик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что это луна взошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка. Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу: и луна, и облака, а ноги мои были как стволы деревьев и, наверное, очень нравились ежу, он